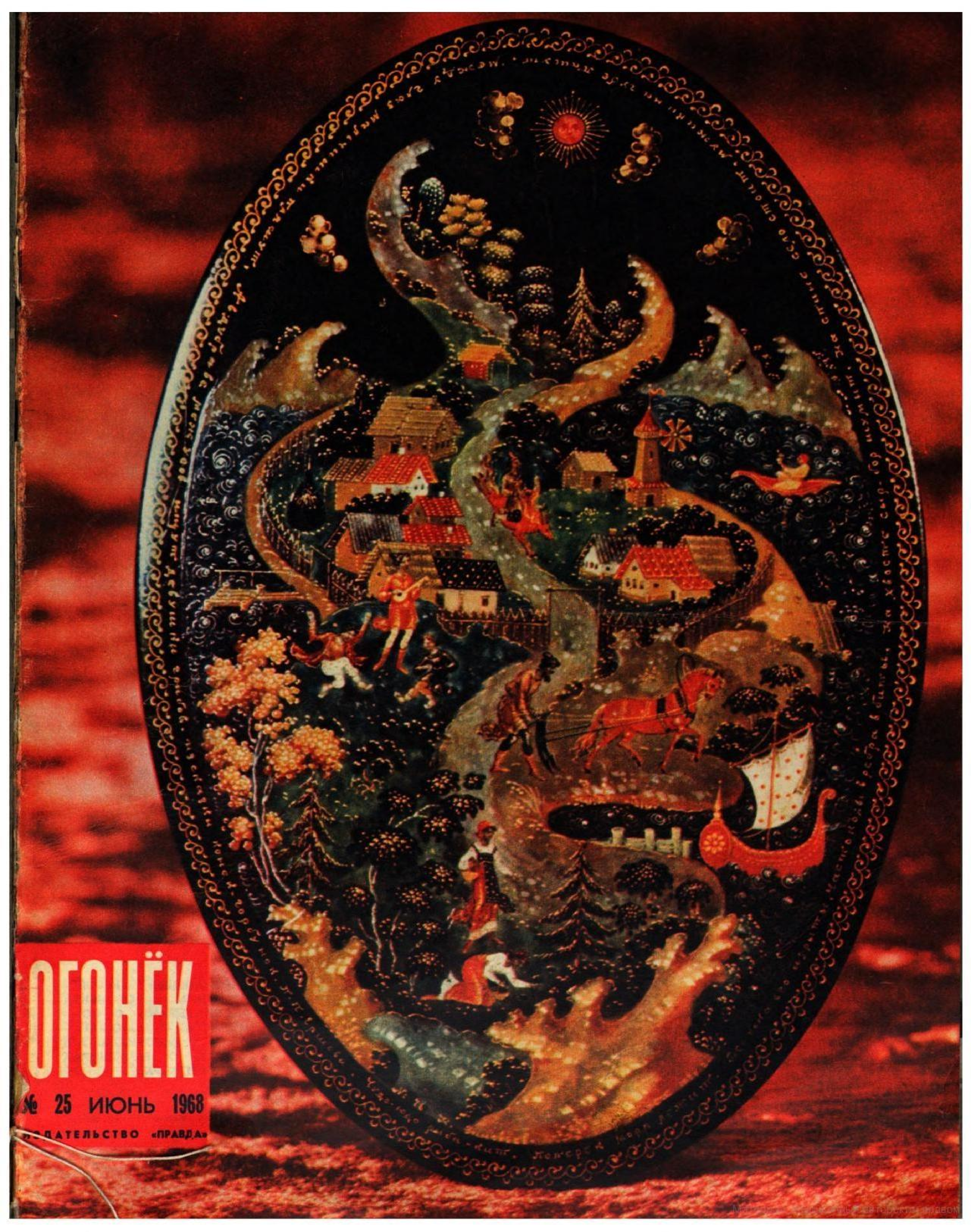

ОГОНЁК
№ 25 ИЮНЬ 1968
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МО

На Самаре-реке...



Н. БЫКОВ,
М. САВИН.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ОГОНЬКА» РАССКАЗЫВАЮТ О КОММУНИСТАХ ОДНОГО РАЙОНА — О РАБОЧИХ-МЕТАЛЛУРГАХ, О ТРУЖЕНИКАХ ЗЕМЛИ И ФЕРМ.

Леонид Харченко — металлург.

ЛОДОЕ ЛЕТО



• • •

Могучие, только-только зазеленевшие дубы и деревянный собор-красавец, поставленный еще запорожцами на центральной площади Новомосковска,— немые свидетели веков, пролетевших над землей украинского Присамарья. Немые? Не скажите... Много говорят они уму и сердцу людей, которые отстояли эту свою землю от врагов, распахали былинную степь меж курганами, поставили у ворот своего городка современные заводы. А река Самара все бежит среди дубрав, а в степи поднимается новый хлеб, и уже дети детей красных казаков и революционных солдат делают жизнь на дедовой земле.

Они многое рассказали нам, седые жители Присамарья: первый в селе кавалер ордена Ленина и делегат I съезда колхозников Дарья Михайловна Тараненко, первый голова колхоза в селе Орловщина, трижды расстрелянный, но и поныне живой Григорий Архипович Чупрына, председатель сельсовета, командир партизан Федосей Елисеевич Титов... Все коммунисты. Все из тех, кто бьет первый след. За ними — самые верные, самые стойкие, любящие землю под вольным ветром.

Коммунисты... В Губинихе есть памятник. Бюст из гранита на высоком, грубой кладки, словно в огне оплавленном постаменте. И никакой надписи. Люди и так знают имя героя — первый партийный секретарь района Архип Свичеренко. Имя это передается отцами детям — не нужно надписей. Этот человек поднял колхозную целину в Присамарье, остался с народом в сорок первом. Его выследили, хотели взять, но Архип Свичеренко не дался за дешево живешь. Он оставил последнюю пулю себе. И все-таки каратели повесили вожака коммунистов — мертвого.

...Девчонки танцуют у берега. Много народу в солнечном лесу: колхозники отсеялись, рабочие закончили еще одну трудовую неделю. А мы думали о тех, кто крепит славу Присамарья. И старые дубы молча рассказывают о подвиге нашего современника Николая Гордеевича Курузова, бывшего разведчика, ныне трубоэлектросварщика,— это он с товарищами был заброшен в немецкий тыл и предотвратил взрыв Днепрогэса. И о Николае Белом, о рабочем металлургического завода, рассказывают свидетели истории: он один из первых на земле прошел на подводной лодке подо льдами Северного полюса... Имена Марии Куцы и Нины Щербины с третьей фермы колхоза имени Калинина тоже у всех здесь на устах, они первыми надоили по 4 тысячи килограммов молока от коровы.

...Коммунисты района. Те, кто всегда впереди и на пашне и в цеху. Как когда-то в подполье и на фронте... Мы расскажем о буднях Новомосковского района, Днепропетровской области, о прекрасных людях прекрасной земли, что от века называется Присамарьем.

Но предоставим сначала слово рабочему человеку, коммунисту Леониду Андреевичу Харченко. Он сам расскажет о себе, о своих товарищах, о родном Новомосковске.

МОЛОДОЕ ЛЕТО

РАЗДУМЬЯ ЛЕОНИДА ХАРЧЕНКО,

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НОВОМОСКОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

О ВРЕМЕНИ, О ДРУЗЬЯХ, О СЕБЕ

Только что закончилась ночная смена, на дворе светает, а тут еще собрание. Пришел парторг цеха, поговорили. Глаза слипаются, скорее бы на поезд и домой, но не тут-то было. Парторг попросил — теперь уже только меня — еще задержаться: «С тобой хотят корреспонденты встретиться». Тяжелое утро, но раз надо, значит, надо... И вот, отвечая на просьбу журнала, пишу в «Огонек». Сегодня есть время — выходной. После той недели, когда работал в ночную, это отличный день! Да еще к вечеру подарок от телевидения — футбол из Москвы, встреча со сборной Бельгии... А пока...

Меня попросили рассказать о заводе, о себе, о своих товарищах. Очевидно, есть такая потребность у нашего общества — заглянуть в глаза и душу рабочему человеку. Я и мои товарищи (а их много тысяч только в нашем городе!) — мы работаем не от случая до случая, завод — наша жизнь, а не очередная «кампания». И если говорить серьезно, то я привык к тому, что когда у нас в цехе появляются гости, то они интересуются или делают вид, что интересуются, технологией сварки труб, но редко кто обратит внимание на человека в спецовке, на нашего брата, рабочего. Я изо дня в день читаю и слышу, как берут интервью у звезд кино или спорта, у людей науки. А интервью рабочего обычно тонет в цеховом шуме и в торопливых комментариях журналиста.

Эти мои самые первые мысли не от какой-то обиды, не от чувства превосходства или, напротив, неполноценности, нет, просто я пытаюсь понять: почему вдруг обратились к рабочему нашего завода с такой просьбой, какая нужда сегодня в моем голосе, о чем я могу рассказать и о ком? Какими хотят видеть нашего брата граждане иных социальных групп и какие мы сегодня есть на самом деле? Что главное в моем миропонимании? Что может быть интересного в моей личной и общественной жизни для других?

Вот я говорил вначале о разных интервью и поймал себя на мысли, что и сам читаю в газетах, слушаю по радио или на экране телевизора смотрю передачи куда охотнее о людях именно других профессий (о тех же спортсменах, артистах), особенно мне интересно все, что касается спорта и его звезд. В то же время поверхностным, даже далеким от действительности кажется мне многое, посвященное жизни рабочего человека. Обычно известное однообразие наших будней расцвечивается бойким текстом, похлопыванием по плечу. Попытка вырвать рабочего человека из привычного для него мира выглядит не всегда удачно. А надо ли вырывать? Надо ли заставлять играть перед телекамерой чужую роль? Надо ли водить пером, которое в кои-то веки взял в руки токарь или крановщик? А если войти в мир моих интересов, моих будней, вместе со мной войти в беспрерывный поток смен, часов отдыха, забот о семье, о самообразовании, совершенствовании производства? От этого круга никуда не уйти.

Помните у Чехова в «Трех сестрах»: «Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волом, лучше быть простою лошадью, только бы работать...»? Видите, как рассуждает человек, никогда не работавший. Я, который на заводе с семнадцати лет, не могу защищать такую «романтику»: изо дня в день вставать либо чуть свет, либо уходить в грохочущий цех на всю ночь. Мне кажется, и смысл революции, прогресса как раз в том, чтобы человеком быть, а не «волом» и не «простою лошадью»! Чехов это еще когда понял, а мне и в наше время приходится слышать о романтике дымящих труб, палаточных городов, бездорожья. Тот, кто впервые побывал у нас в цехе, выходит пьяным от шума, а мы, в нем работающие, вроде бы привыкли. Привыкли? Нет, есть у нас по соседству другой цех, тоже трубный, построенный позднее, там и воздуха больше и оборудование совершеннее, а специалисты думают, как еще и шум в цехах поубавить, думают о создании лучших условий для нас, рабочих. Вот в этих поисках, как облегчить труд человека, и заключается романтика. И мне кажется, надо следовать примеру Чехова: не воспевать труд вообще, абстрактно, невольно выдавая свое нежелание работать физически, а раскрывать мир интересов, умонастроения трудящегося, выискивать и подчеркивать все, что отличает работающего человека, всячески помочь осознать свое место, свою главенствующую роль в обществе. Знания, автоматика и прочие новинки современного производства должны освободить рабочего от физической тяжести долгих смен, от непроизводительного труда, развить в каждом станочнике личность творческую. Мы на пути к этому, но только на пути, и неразумно кричать о желаемом, как о действительном.

Нелегкая доля, да, но и завидная. Это я пишу искренне. Убежден в том, что нет более прекрасной должности (перефразирую М. Горького) на земле! У нас в стране от труда никого не уберегают и все-таки плохо еще воспитывают вкус к физическому труду. На словах опять же все правильно, а на деле? Не всякий устремляется после школы к заводской проходной. Почему? Мне трудно ответить на этот вопрос. Сейчас в моде социология, наверное, она и на этот вопрос найдет ответ. Но факт остается фактом: в стране освобожденного труда интерес к рабочим профессиям у школьников, например, невелик. Но я обещал не философствовать, а рассказать о себе и своих товарищах. Так вот, я окончил десятилетку и пошел на завод — на наш, металлургический. По собственному желанию. Мне удавались гуманитарные предметы. Я любил и люблю литературу, хотел и сейчас пробую писать, мне прочили карьеру учителя, во всяком случае, настоятельно советовали поступить в институт. Учителя нашей школы советовали, но... Я рассуждал так: мужчина должен по крайней мере начинать с грубого труда. С завода.

Мне было семнадцать лет, но я уже твердо знал, что должен что-то делать своими руками. Только это принесет мне удовлетворение. И я пошел на завод. Тогда, в 1953 году, это еще не было распространенным явлением.

Нашел ли я то, что искал: ощущение физической усталости, удовлетворение? Нет. То есть потом-то нашел, но не тогда, не сразу. Меня определили электромонтером. Работа мне не нравилась, да и было ее немного. Вокруг меня работали в основном пожилые люди, как мне тогда казалось, вспомогательный их труд не являлся созидательным, хотя безусловно нужным. Было разочарование: гудок — на завод, гудок — с завода... Ну, еще спорт. И так до армии, пока не взяли на службу.

Из армии вернулся посмелевшим, можно сказать, взрослым человеком. Я и раньше знал, чего хочу — участия в необходимой работе, необходимой всем. Стране, миру! Никак не меньше. И теперь, демобилизовавшись, я твердо попросился в основной цех. Туда, где есть работа рукам и голове. И тут вскоре произошло событие, которое сыграло огромную роль и в жизни нашего завода, и в моей личной жизни, и в развитии отечественной металлургии. Дельцы Западной Германии — это было еще при канцлере К. Аденауэре — отказались поставлять нам трубы большого диаметра. А такие трубы в нашей стране — дефицит. Идет большое строительство! Оснащение городов водопроводом, строительство гигантских газо- и нефтепроводов!.. Труб нужно много, это все у нас знают. И вот отказ. Умолять? Искать новых поставщиков? Нам, рабочим, сказали, что выбор пал на наш завод: мы отныне будем варить трубы. И началось! Вот это было задание! По существу, в рекордный срок строился и с ходу вводился совершенно новый завод у меня, у всех у нас, жителей тихого приднепровского городка, на глазах! Мы строили, и мы же готовились овладеть новыми профессиями. Меня послали на Урал, в Челябинск. Учиться. Понадобилось всего девять месяцев, чтобы завод выдал первую трубу. Первая — она сейчас на постаменте у входа в наш цех, первая, сваренная почти вручную, некрасивая, но первая, настоящая. Наша. В начале 1962 года рабочие завода написали на трубе ответ дельцам из Западной Германии: «Вылетишь в трубу, Аденауэр». Весь мир говорил о чуде: русские в рекордно короткий срок наладили производство труб большого диаметра.

Сегодня, вспоминая пережитое, я испытываю необыкновенное чувство гордости и за страну, и за свой Новомосковск, и за своих товарищей. Это чувство родилось в труде — осмысленном, общественно полезном! А все это очень важно для рабочего человека — сознание того, что в твоей продукции нуждаются все. Да, мы делаем трубы, но мы делаем и политику! И тут уже самые тяжелые смены не в тягость, каждый понимает, что он участник внешнеполитической акции государства, что лично он помогает своему государству продвигаться вперед. Мне кажется, что это наиболее стимулирующее ощущение. Ты нужен! Без этого ощущения не может быть чистой, радостной жизни. Оно питает и чувство собственного достоинства!

И тут я хочу поделиться мыслями о месте рабочего человека в обществе. Социалистическую революцию под руководством В. И. Ленина осуществил рабочий класс. Прошло полвека. Мне кажется, что вся наша экономика сейчас перестраивается в интересах дальнейшего развития производительных сил, создания материальной базы такого общества, которого никогда не было на земле. И это очень важный этап в истории государства. После XX, XXII и XXIII съездов КПСС программа дальнейшего развития ленинских принципов социалистической демократии предполагает совершенно новое отношение между личностью и государством, между мною и теми, кто определяет маршрут вперед. Вот взять у В. И. Ленина, он еще на заре Советской власти говорил, что вопрос состоит в том, чтобы сознательный рабочий чувствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представителем страны, чтобы он чувствовал на себе ответственность. Это чувство ответственности за все, что в стране происходит,— самое главное, что надо развивать в каждом рабочем. Иначе как же осуществить экономическую реформу, как сделать, чтобы хозяйственная самостоятельность завода стала нормой жизни производственного коллектива? Нет, рабочие не должны между делом, в каждодневных заботах о плане забывать о своей личной ответственности за судьбы государства.

Почему я это пишу? Да потому, что, мне кажется, не надо идеализировать нашего брата. Еще



Комсомольцы 1-го цеха.

встречаешь в своей среде и ограниченность в понимании личных интересов, равнодушие к политическим событиям в стране и в мире, иной рабочий лишь формально помнит об обязанностях перед обществом, а о своих правах давно забыл, но если человек не знает своих гражданских прав, то какой же он гражданин, как он сможет участвовать в общественной жизни страны? Я убежден, что социалистическому государству политически и экономически невыгодно иметь дело с пассивной массой трудящихся. Это очень серьезная проблема — развитие гражданской активности каждого. Современный рабочий отличается прежде всего тем, что ему до всего есть дело.

Что значит тип современного рабочего? Я немало и прежде думал об этом. Наш труд все более сходен с трудом интеллигентным. Да, да, не удивляйтесь этому! На таких заводах, где царствует полуавтоматика, где некоторые цехи настолько безлюдны, что фотокорреспонденту и снимать нечего, вернее, почти некого, где я, рабочий, с пульта управления слежу за работой огромного электросварочного стана, на таких заводах рабочий — человек творческого труда. Я и мои товарищи по цеху затрачивают все меньше физических сил и все больше сил умственных. У меня девятый разряд. Скоро будет и диплом специалиста, технолога. И все-таки вовсе не высокий разряд и не диплом определяют тип современного рабочего. А что же? Потребность жить не только интересами узкопрофессиональными, потребность в осмыслении всего, что происходит в мире и в жизни общества,— вот что выводит просто хорошего, добросовестного рабочего на орбиту интересов общегосударственных.

Я не люблю слова «работяга». Да, есть работяги и рабочие. И не надо умиляться тому, что парень — работяга. Надо помочь ему найти себя, преодолеть себя, свою гражданскую пассивность, инертность, расширить его кругозор. То есть позаботиться о том, о чем и говорил я в начале своих заметок, вспоминая В. И. Ленина,— о личной ответственности за страну (быть «представителем страны»). Возьмите революционера Бабушкина, он работал совсем рядом, на заводе в Днепропетровске, и был уже тогда рабочим, а не работягой. Он только потому стал ленинцем, что был лично заинтересован в изменениях политического строя, социальной атмосферы в России. Да мало ли таких примеров в истории пролетарской революции! А ведь мы не Иваны, не помнящие родства, мы продолжатели, недаром государство позаботилось о нашем образовании. Время отдачи наступило — для этого особенно подходяща атмосфера экономической реформы.

В связи с реформой нельзя не сказать о творческом начале в труде. Только творческий, осознанный труд дает удовлетворение — это я по себе знаю. И рядом со мной подобные примеры. Сварщика узнают по шву. Мы, трубоэлектросварщики, на каждой трубе ставим личное клеймо. Авторство! Оно лестно, и оно тоже делает наш труд в какой-то степени схожим с трудом интеллигента. Но авторство ко многому обязывает! Бывает, что контролер ОТК, не глядя на клеймо, уже знает, кто варил трубу. По шву. Это приятно, когда твоя работа отличная, но как же нехорошо себя чувствует тот, кого узнали по отвратительному шву... Казалось бы, невелика проблема. Нет, тут важен принцип. Отличный шов — это и заработок, и премия, и уважение товарищей. И еще приближение к тому совершенству, к тому уровню мирового стандарта, к которому стремимся все мы. А это уже честь Родины. Видите, как все связано: гражданская активность, квалификация, место среди товарищей и честь Родины на мировой арене! Тип современного рабочего всем этим требованиям — и профессиональным, и нравственным, и политическим — должен отвечать. Есть у нас ремонтная площадка, там труд адский — вручную ликвидируется брак и брачок трубоэлектросварщиков. Я считаю своим товарищеским долгом работать так, чтобы не давать работу нашим ремонтникам. А ведь у нас десять электросварочных станов в пролете, средства производства и кнопки на пульте управления одинаковые. А швы разные. И тут многое зависит не только от тебя, но и от того, кто рядом с тобой. Если подручный хорошо знает дело, то и ты сам хорош. При оценке труда рабочего ведущей профессии нельзя не учитывать незаметную, но нередко решающую роль подручного. Он и ты экипаж! И успех всегда там, где дружба и спайка. Со мною за семь лет работали всего два подручных. Я делал все, чтобы мы поняли друг друга — от этого выиграло производство, завод! Первый подручный — Анатолий Корж — стал электросварщиком. Сейчас я работаю со Славой Каминским. Мы с ним сжились, от него — половина моего успеха, недаром в цехе говорят: «У Харченко подручный хороший!» Но так и должно быть. Слава наравне со мной переживает, мы с ним не делим ответственности за трубу, а ведь он физически больше меня работает, а зарабатывает меньше — подручный!

Я очень хочу, чтобы и Слава учился. Он пока не слушает советов и весь отдается после работы своей лодке. У нас такая река — Самара — замечательная, много личных моторных лодок. А места такие, что можно иной раз и про учение забыть! Я понимаю Славу, и все-таки... Вот я грызу науку, электротехнику, математику, механику, черчение... Зачем? Очень тяжело было вначале... И все-таки знаю: прав был, когда поступал в техникум. Это надо для меня, для рабочего. Я даже не против того, чтобы выматываться физически — без этого, может быть, пока и нельзя, если работать по-настоящему, с полной отдачей всех сил. Дорога́ творческая обстановка. Как-то пришел старший мастер, отличный человек Александр Никитович Безуглый (он своими руками перещупал все сварочные станы!) и показывает чертеж, предлагает мне же облегчить мой труд. А я смотрю, делаю вид, что понимаю суть предложения,— и ничего не вижу. Теперь иное дело — я уже не слеп, как когда-то. Пример, может быть, и примитивный, но в нем год моей жизни, определенный сдвиг и в сознании и в мастерстве.

Мне кажется, тут прямая связь между творческим трудом и нравственным обликом рабочего человека. Иначе как же мы, представители современного рабочего класса, сможем претендовать на непосредственное участие в обсуждении и решении важнейших производственных и социальных проблем? Просто руки дружно поднимать при голосовании? Думаю, что и это надо делать осмысленно. Есть среди нас такие, что просматривают только последнюю страницу газет. Но я беру пример у тех, кто посерьезнее, чей голос весо́м в жизни завода. Вот один из них — сменный мастер Иван Яковлевич Кривцун, мы с ним всегда общий язык находим. Живой, темпераментный Василий Качалай — тоже сварщик, живет интересами цеха. А вот Евгений Носенко — сварщик наружного шва, от него труба идет ко мне. Человек во всем положительный, в войну был разведчиком, люблю я его, хотя во время смены часто досадую на Евгения. Он слишком нетороплив, основателен во всех своих действиях. Я спешу — норма, у меня и психическая конституция иная, а тут Носенко работает, как ювелир. Но ведь время, время! Счет идет на секунды... Досадую и все-таки всегда помню, что мой друг Евгений Носенко — настоящий рабочий человек, для которого важна труба, шов, качество.

Да, планы у нас год от года повышаются, но это научно обоснованный рост. Совершенствуются технологическая линия, электросварочные станы. Растет и наше индивидуальное мастерство. Мы повышаем темп, не снижая качества. Ведь каждая труба, ее шов испытываются, а документы испытаний хранятся много лет. Если где-нибудь разорвет газо- или нефтепровод, то вину, личную ответственность бракодела установят быстро... Так что сами понимаете меру ответственности рабочего человека. Плохо, что не все еще помнят об этом, не для всех их рабочая честь превыше всего. Вот почему я думаю, что связь между мастерством, творческим отношением к делу и нравственным обликом человека самая прямая. Надо всемерно заботиться о грамотности, о профессиональной культуре, тогда возрастет и гражданская активность рабочего. Бывает, примут рацпредложение, выплатят премию — и все, считают, что этого мне достаточно. Нет, теперь недостаточно, мне и моим товарищам мое предложение дает нечто большее, чем рубли, оно мне дорого как факт личного участия в улучшении технологии, в достижении плана. Конечно, это не интересует работягу, а настоящего рабочего интересует, в этом он находит удовлетворение. И тут я хочу сказать: мы варимся в собственном соку, не знаем, что и как делается на родственных предприятиях. Колхозники то и дело ездят друг к другу, обмениваются опытом. А мы? Ни разу нигде не были, не видели, как же налажено дело на других трубных заводах.

И еще: реформа должна крепче связывать поставщиков и потребителей. Мы делаем все для того, чтобы перевыполнить пятилетку. Но нас лимитирует металл. Понимаю, нужен запас его (у нас в цехе № 1 он имеется), но как в цехе № 2 создать такой же запас, если поставщики работают рывками, отгружают нам металл только в последние дни месяца? За это их штрафуют. Но штрафы нам не нужны, дайте сырье для труб! Бывают из-за этой неувязки и простои, бывает, шлет завод рабочего к министру: почему нет металла? Но разве это метод, разве министр прокатывает металл? Тут что-то не так...

Да, конечно, интересы производства вытесняют почти все. Работа и техникум — вот чем я живу. Хотелось бы больше читать. Театр? Вроде и близко (до Днепропетровска всего 30 километров), но бываю в нем редко. Природа? Прекрасная вещь, но что за интерес мужчинам ехать куда-то одним, без своих подруг и жен, без детей, а поехать вместе в присамарские леса нам редко удается: все мы в разных сменах, и выходные дни, как правило, у членов семьи не совпадают. Я пишу об этом еще и потому, что проблема отдыха весьма актуальна. Не кто иной, как Маркс, считал, что свободное время при коммунизме будет главным богатством общества. Как хлеб, как тот же металл, как книги — главное богатство! Так что неумно воспевать тяжелый труд от и до... Наоборот, мы должны все делать, чтобы высветить дни, ночи — целые годы, которые рабочий проводит в грохочущем цехе. И тут слово за социологами, архитекторами, конструкторами. И за нами, рабочими. Мы все вместе должны добыть для нашего общества это главное, по Марксу, богатство — свободное время! Нет, это не парадокс, что главная мечта рабочего — о свободном времени. Я мечтаю о нем лишь потому, что обладаю правом на свободный труд!.. Вот, собственно, и все на эту тему. Маяковский писал: «Я сам расскажу о времени и о себе». Это очень нелегко — о времени и о себе. Но хотелось хоть немного сказать о себе и о товарищах — самому.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 25 (2138)

Основан 1 апреля 1923 года

15 ИЮНЯ 1968



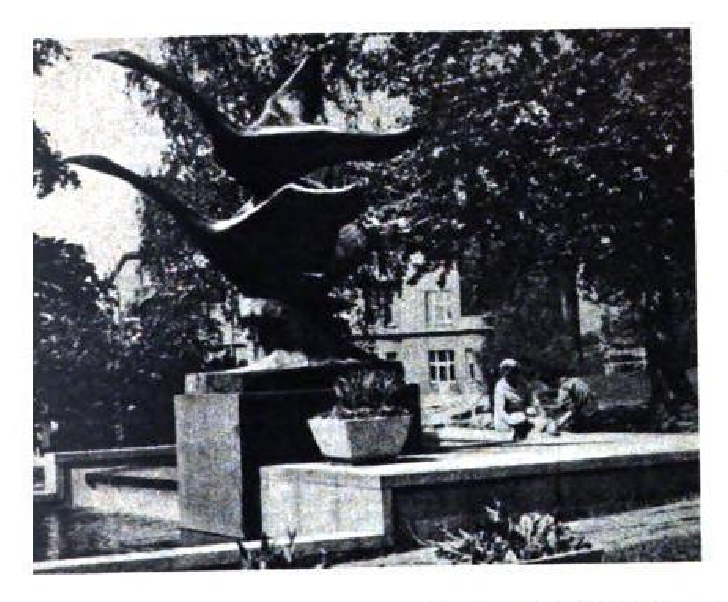
А. СОФРОНОВ

Фото автора.

ПАРОМ



Цветы на мемориальной доске у дома, где жил В. И. Ленин (г. Турку).



На одной из площадей города Турку.



Город Мариехамн. Делегаты идут на конференцию.



Посадка на паром после Дней мира на Аландах.

Если ты однажды побывал в чужой стране и она не оставила тебя равнодушным, значит, в этой стране, в людях, которых ты узнал, есть что-то такое, что вызвало твой интерес... А если ты бывал в этой стране не один, а много раз, запомнил не только ее города, но и улицы, а главное, хорошо узнал многих людей, уклад их жизни, их тревоги и радости, то, совершенно естественно, тебя всегда будет снова и снова тянуть в эту страну. Если же случился значительный перерыв в твоих встречах, тем острее будут впечатления от новой встречи. Что нового? Куда пошла страна? Как тебя встретят и как ты сам отнесешься к твоим старым знакомым?

После длительного перерыва я снова побывал в Финляндии. И не просто в Финляндии, а на Аландских островах, расположенных в Балтийском море. Много раз собирался во время прошлых посещений Финляндии побывать на Аландах — и все как-то не получалось. А теперь в главном городе Аландских островов, их столице, в Мариехамне, состоялись Дни мира, в которых приняли участие общественные деятели Финляндии, Дании, ГДР, ФРГ, Польши, Норвегии, Советского Союза и Швеции.

К Аландам два пути — морем и воздухом. Около 600 участников Дней мира отправились в Мариехамн морем, большим старым паромом. Кажется, не так уж много времени — шесть часов плавания, но все же паром, чем-то напоминающий Ноев ковчег, давал возможность присмотреться к попутчикам.

Три палубы парома достаточно тесны для такого количества людей. Кто сумел, тот занял удобные места на нижней палубе, где было потише, не так ветрено. У меня болело горло, начиналась ангина, я отсоединился от нашей делегации и пристроился на нижней, непродуваемой палубе, среди пожилых финнов, людей простых, доброжелательных и веселых. Дни мира для них и дни отдыха. То ли меня узнали жители старого финского города Турку, в котором я много раз бывал в прошлые годы, то ли по закону гостеприимства мне уступили в уголке на палубе место, поощрительно улыбались, время от времени угощали кофе и шоколадом и разговаривали со мной, нимало не смущаясь тем, что я не мог отвечать на финском языке. Но это не имело значения ни для них, ни для меня. Моим спутникам, видимо, важно было сказать, что они считали необходимым, а мне в ответ приветливо улыбаться, давая понять, что языка я не знаю. Но все было превосходно. Рядом со мной старик в очках в простой оправе играл на баяне. Пожилые полные женщины кружились в вальсе. Напротив за столиком веселая компания интенсивно меняла бутылки пива, изредка дополняя их маленькими порциями бренди. Все шло своим чередом.

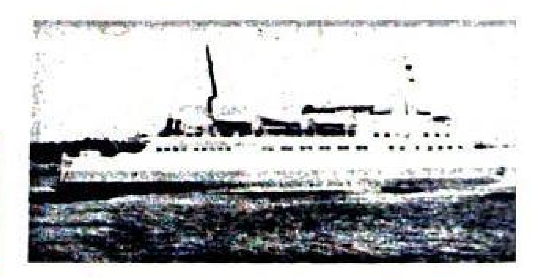
Мимо мелькали большие и маленькие каменистые, щедро поросшие лесом острова. За паромом тянулись в ожидании добычи крикливые чайки. С каждым часом на пароме становилось все более шумно. В полную нагрузку работали киоски. Мне все же надоело сидеть, оберегая свое горло от ветра. Бросив на скамейку плащ, я пошел побродить по палубам. Шумный разговор перекатывался от скамейки к скамейке. Бродя по парому, я все чаще встречал группки молодежи. Внешне они выглядели несколько необычно для финских юношей и девушек, во всяком случае, тех юношей и девушек, которых я запомнил по старым своим поездкам в Финляндию. Это были, не все, конечно, по внешнему облику типичные «хиппи» — длинноволосые, с бледными лицами, бездумно блуждающими глазами. Большинство из них сидели на корме, цедили в стаканчики бренди, плохо скоординированными движениями махали руками и нещадно курили... И девочки-подростки и их партнеры-юноши. Нам всегда бывает горько, когда мы видим полудетей с сигаретами между тонкими девичьими пальцами...

На палубе, где стояли поднятые на паром автобусы и автомашины, я увидел двух девушек: одну побольше, другую — маленькую, голубоглазую. Обе они курили, о чем-то беседуя, небрежно стряхивая пепел. Мимо них шли люди, останавливались, смотрели на них... А они продолжали беседовать, ни на кого не обращая внимания, рассеянно сбрасывая пепел,— две девочки в коротких потрепанных джинсах...

Убедившись, что верхняя палуба из-за сильного, холодного ветра мне противопоказана, я вернулся на старое место, туда, где продолжал весело звучать баян, вздрагивая в грубых руках пожилого человека, добродушно смотревшего поверх очков на кружащихся в вальсе немолодых полных женщин. Здесь не было уныния. Женщины не курили. Мужчины вели какой-то бесконечный разговор, громко хохотали и дружески подмигивали мне.

Здесь было тепло и даже душно. Я слушал несложную мелодию баяна, смотрел на очень просто, обычно одетых женщин и невольно сравнивал эти, казалось бы, несоприкасающиеся две категории пассажиров парома — людей зрелых, в возрасте, и совсем молодых, печальных девушек и не очень опрятных парней.

НА АЛАНДЫ



В день нашего приезда в Хельсинки наш посол Андрей Ефимович Ковалев показал советской делегации недавно выпущенный финский фильм «Лапуасская свадьба». Перед сеансом он сказал: «Посмотрите, мне кажется, вам будет интересно. Этот фильм получил в прошлом году одну из национальных премий». Фильм действительно оказался интересным. В нем показывались судьбы студенческой молодежи, пытливо ищущей дорогу в жизни. Без особого смакования всяческих натуралистических сексуальных подробностей, являющихся обязательной принадлежностью современного буржуазного коммерческого кинематографа, фильм вел своих героев через большие и малые жизненные барьеры, вел с любовью к героям, словно бы заботясь не только о самих героях фильма, но и о тех, кому доведется этот фильм смотреть. Нельзя сказать, чтобы фильм был ладно скроен, но в нем, словно пульсирующая жилка, пробивался неукротимый внутренний оптимизм времени, времени сложного, отягощенного думами и заботами не только о настоящем, но и о будущем.

Сидя на палубе парома и наблюдая за тем, что проходило перед моими глазами, я невольно вспоминал эту кинокартину, ибо здесь происходило нечто похожее.

Совсем близко замелькали очертания Мариехамна. Стоящие у причала корабли. Одинокие белые паруса. Автомашины на пристани. Паром причалил к берегу...

В тот же вечер в большом спортивном зале города состоялся вечер дружбы, на котором с короткими приветственными словами выступали руководители делегаций. Но, пожалуй, главным на этом вечере были все же не речи, а художественная часть.

Мы с удовольствием смотрели народные танцы Аландских островов. Слушали небольшой самодеятельный симфонический оркестр. Участники вечера тепло приняли советских артистов... Это как бы был концерт... И в то же самое время не концерт. После выступления представителя делегации ГДР на сцену вышли две девочки и два мальчика с гитарами. Они спели всего одну песню. Содержание ее нам перевели. Что-то знакомое слышалось в мелодии. Да, конечно же, строй песни напоминал знаменитые революционные песни Эрнста Буша. Вот короткие мысли этой песни: «Скажи, с кем ты? Скажи, где ты стоишь? Давайте называть вещи своими именами... Не надо скрываться под маской, скажи, с кем ты?!»

Четыре жестких молодых голоса звучали под сводами большого спортивного зала. И все затихли... И долго аплодировали, когда сцену покинули тоненькие девочки и юноши с обычными гитарами.

Но это было не все. На сцену вышла группа юношей и девушек в красных косынках. Это были пионеры из города Турку. И в первом ряду среди них я увидел ту самую голубоглазую печальную девочку, что равнодушно стряхивала пепел сигареты на палубу парома. Пионеры запели на финском языке хорошо знакомую нам песню «Хотят ли русские войны». Но они отредактировали эту песню. Строки «хотят ли русские войны» в их песне не было. Строка была исправлена. Финские юноши и девушки спрашивали: «Хотят ли люди войны? Все люди на земле?..»

А затем они исполняли собственную песню о Вьетнаме... И эта песня, необычная по форме— речитатив сменялся пением,— снова захватила зал, соединилась с песней немецкой молодежи «Скажи, с кем ты?».

А я слушал и думал о том, как непохожа была эта голубоглазая девушка, стоящая среди своих друзей на сцене спортивного зала в Мариехамне, на ту, что стояла возле плывущих на пароме автобусов и автомашин... Но это была одна и та же голубоглазая девушка в коротких поношенных джинсах.

Уже позже, вернувшись с Аландских островов, в городе Турку, где мы провели целый день, возложив алые гвоздики на мемориальную доску, возле дома, в котором когда-то жил Владимир Ильич Ленин, вечером мы снова встретились с этим впечатляющим маленьким ансамблем финских пионеров; на этот раз, кроме уже слышанных нами песен, спетых на финском языке, звучали еще и «Подмосковные вечера» В. Соловьева-Седого и «Одинокая гармонь» Бориса Мокроусова.

Так, с самого начала, едва паром причалил к Мариехамну, мы были включены детскими голосами в атмосферу этой знаменательной встречи на Аландских островах, встречи, на которой делегаты одновременно состоявшейся здесь конференции обсудили жизненные проблемы, волнующие большинство европейцев, и приняли важные решения по вопросам европейской безопасности и нераспространения ядерного оружия.

Не случайно было горячо принято выступление главы советской делегации, заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. А. Мюрисепа, изложившего ясную и твердую позицию Советского Союза в вопросах европейской безопасности и, как один из пунктов в этом вопросе, незыблемость ныне существующих границ в Европе.

Много места в выступлениях делегатов было уделено обсуждению попыток Бонна заполучить атомное оружие.

Делегат, представляющий миролюбивые силы ФРГ, говорил о том, что трудящиеся Западной Германии выступают против принятия бундестагом вопреки сопротивлению трудящихся чрезвычайных законов, являющихся прямой угрозой миру.

— ФРГ сейчас вызывает наряду с США чувство ненависти, так как принятие этих законов является угрозой не только тем, кто живет в Западной Германии, но и для всех народов Европы,— с горечью говорил представитель сторонников мира ФРГ.

Министр промышленности Финляндии В. Лескинен в своем вступительном докладе высказался за признание обоих германских государств — ГДР и ФРГ.

Недолго, всего двое суток, продолжались Дни мира на Аландских островах. Гостеприимные хозяева сделали все, чтобы участники конференции, впервые встретившиеся в Мариехамне, как следует поработали на благо мира и одновременно отдохнули, полюбовались действительно изумительно красивой природой Аландских островов.

...И снова причалил к гавани Мариехамна паром. Делегаты возвращались домой. На этот раз паром был новый, недавно построенный в Югославии... Снова царило веселье на палубах парома. Звучал оркестр. Молодые и старые отплясывали летку-енку. Только среди всех этих людей странно было видеть группу обросших, грязных типов неопределенного возраста, сидящих на задней корме под тряпкой, привязанной к палке. Эти нетрезвые люди называли себя маоистами. Они пытались дарить значки с изображением Мао. Пьяными голосами выкрикивали его имя... А потом, когда кончились алкогольные запасы, пошли по палубам с призывом сделать взносы в пользу Вьетнама. Люди охотно давали им по одной-две марки. Собрав необходимую сумму, поклонники Мао незамедлительно отправились в киоск и на все даяния купили виски и бренди и продолжали пиршество.

Паром подошел к гавани. Шатаясь из стороны в сторону, поклонники Мао поплелись к берегу и там, обессиленные, завалились на асфальт... Пассажиры парома проходили мимо них, брезгливо оглядываясь.

Так называемые маоисты.



...Рассказ о поездке на Аландские острова был бы неполным, если бы я не упомянул группу советских актеров, принявших участие в Днях мира на Аландских островах. Всюду — на Аландах, в Турку и в Хельсинки — проходил, по существу, маленький фестиваль искусства советских прибалтийских республик, пославших на Аланды своих талантливых представителей. Финны сердечно приветствовали исполнителей на народных литовских инструментах Дануте Юодвальките, Будрюса Пранцишкуса и солиста Государственного литовского театра оперы и балета Ваулеваса Даунораса; народного артиста Латвийской республики Питера Гравела и композитора Элгу Игенберг, прекрасных танцоров из Риги Ренату Шавейс и Дайлона Рудовица, популярного певца из Эстонии Калмара Тенносаара, а также молодую талантливую исполнительницу русских песен, солистку Москонцерта Екатерину Шаврину.

Сердечно принимали зрители молодой самодеятельный коллектив «Гамма-джаз» ленинградского завода «Вибратор», руководимого инженером Александром Петровым.

...Дни мира на Аландских островах удались. Они останутся в памяти тех, кто участвовал в них, они останутся в памяти тех, кто будет горячо поддерживать решения, принятые сторонниками мира в Мариехамне, столице Аландских островов. Их запомнят девушки и юноши, которые впервые со своими песнями обратились к делегатам восьми прибалтийских стран; запомнит и голубоглазая девочка из старого финского города Турку, много веков стоящего на берегу Балтийского моря.

гор. Мариехамн.
Июнь 1968 года.

У ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ ГАГАРИНОЙ

Алексей ГОЛИКОВ

Фото автора.

Этот репортаж я пишу шариковой ручкой первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Я ездил в Звездный город к Валентине Ивановне Гагариной, чтобы передать письма, пришедшие в «Огонек» и адресованные ей, и последние фотографии Юрия Алексеевича, которые мы сделали с фотокорреспондентом «Огонька» Дмитрием Ухтомским за три дня до катастрофы.

Как и в тот приезд, два с лишним месяца назад, дверь открыла старшая дочка космонавта, Лена. Прохожу в комнаты. Кажется, все здесь по-прежнему, все на своих местах. Только Валентина Ивановна изменилась, в уголках рта залегли горькие морщинки.

— Сначала покажите фотографии,— просит она.

Смотрит на них, тяжело вздыхает, бледнеет. Леночка склоняется к плечу матери.

— Вот наш папа! А вот я даю ему воды попить. А здесь он с ружьем, помнишь, ты подарила?

На глазах Валентины Ивановны слезы.

— Да, это ружье я подарила в день рождения — 9 марта. Мужу давно хотелось иметь тульский дробовик. Доволен был очень, прыгал, как мальчик. А выстрелить из этого ружья так ни разу и не пришлось.

Я говорю, что привез все фотографии, в том числе и не совсем удачные.

— И очень хорошо,— отвечает она.— Мне теперь любая его фотография бесконечно дорога, а особенно самые последние... Нет... И первые тоже. Вот посмотрите, каким был Юра в год нашего знакомства.

Со старой фотографии улыбается стриженый курсант в авиационных погонах, с парашютным значком на гимнастерке.

— Я родилась и выросла в Оренбурге,— говорит Валентина Ивановна.— И первый раз встретилась с Юрой там, в авиационном училище, на вечере танцев. Помню, подходит ко мне стриженый курсантик, а мы их лысенькими звали, и приглашает на вальс, а сам улыбается. Вы же знаете, как он улыбался. Потом стали с ним встречаться каждый выходной день. В первый отпуск Юра уехал в родной Гжатск. Дома его в военной форме еще не видели. И вдруг приходит ко мне домой, вернулся раньше времени...

Валентина Ивановна сидит за столом как раз на том месте, где сидел Юрий Алексеевич, когда мы беседовали с ним 24 марта. В тот день он привез жену из больницы домой на воскресенье. Я спрашиваю, что было потом, как прошли те три последних дня.

— В воскресенье вечером Юра отвез меня обратно в больницу: у меня язва желудка. А в понедельник снова приехал навестить. Сказал, что во вторник не выберется, занят будет с утра до ночи. Во вторник я его и не ждала, это 26 марта. Утром, после врачебного обхода и лечебных процедур, пошла с соседкой по палате погулять. Мы вышли на больничный двор, сидим на скамеечке, разговариваем. Вдруг въезжает машина, смотрю, из нее выходит Юра. Я удивилась. Оказывается, он был где-то неподалеку по делам, вот и заехал. Сказал, чтоб завтра не ждала, не волновалась. Завтра весь день занят. Рассказал, что дома делается, как девочки. А сам на часы смотрит: «У меня через час предполетная подготовка, завтра утром летаю». Посидели немного, поговорили, и он уехал. Не знала, что в последний раз его вижу.

Когда Юра летал, я, как и все, видимо, жены летчиков, всегда немножко волновалась за него. Так и 27 марта с утра на душе было неспокойно. С нетерпением дождалась вечера и позвонила домой. Это часов в восемь. Думаю, может быть, вернулся. Но телефон оказался занят. Я позвонила снова, опять занят. И так часа полтора. Не выдержала и позвонила соседям, просила узнать, что у нас дома и почему занят телефон. Мне ответили, что дома все хорошо, а телефон в нашей квартире не работает.

На другой день я с утра стала звонить домой, но телефон все еще был не исправен. А потом ко мне вдруг приехали Валя Терешкова, Андриян Николаев и Павел Попович. Увидела их, так сердце и сжалось. «Что-нибудь случилось? — спрашиваю» «Да,— отвечают,— вчера утром, 27 марта...»

Валентина Ивановна прерывает рассказ...

— Вот посмотрите, чем он в тот день должен был заниматься.

На настольном календаре — 27 марта 1968 года, среда. Ниже рукой Гагарина столбиком написано: «1) 10.00 — тренировочные полеты, 2) 17.00 — редакция журнала «Огонек», «Круглый стол», надо выступать, 3) 19.30 — встреча с иностранными делегациями. ЦК ВЛКСМ».

— Юра так расписывал каждый свой день,— говорит Валентина Ивановна,— времени ему всегда не хватало, всегда было в обрез.

Она берет привезенные мной письма, читает одно из них. Письмо коллективное, от женщин — работниц игольного цеха механического завода имени Калинина в городе Подольске. Они пишут, что по-женски разделяют ее горе, глубоко ей сочувствуют, говорят, что тоже плакали, когда услышали о гибели Юрия Гагарина. Просят сообщить, как здоровье Валентины Ивановны, как она живет.

Собственно, об этом спрашивают в сотнях писем, которые получает редакция.

— Сначала о моем здоровье,— говорит Валентина Ивановна.— Сейчас стало лучше. Вот видите, выписалась из больницы, вернулась домой. Где буду жить? Решила остаться здесь, в Звездном городе. С одной стороны, конечно, тяжело, уж очень мне все напоминает. Даже вот сейчас: пришел журналист, и кажется, вот-вот из своего кабинета выйдет Юра интервью давать. Собственно, уезжать не хочу из-за детей, хорошо им здесь. Школа у нас отличная. А у меня старшая, ей 9 лет, в 3-м классе учится, а младшая, ей 7 лет, пойдет нынче в первый класс. Место здесь красивое, здоровое, ребятам гулять и бегать безопасно: ни машин, никакого уличного движения. За них я могу быть спокойна. И друзья рядом. В тяжелую минуту это очень важно.

Валентина Ивановна просит через журнал «Огонек» передать ее глубокую благодарность всем, кто в этот тяжелый час обратился к ней со словами участия и утешения, беспокоится за ее здоровье, за ее судьбу.

Мы прощаемся. Валентина Ивановна берет с письменного стола черную шариковую ручку с надписью «50 лет Октября».

— Возьмите на память о Юрии Алексеевиче,— говорит она.— Эта ручка всегда лежала возле настольного календаря. Ею он расписал по часам последний день своей жизни.

НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ ИЗРАИЛЬСКИХ АГРЕССОРОВ

Демонстрация протеста в Аммане против последних провокаций Израиля.



Израильские агрессоры, поддерживаемые империалистическими кругами, не прекращают провокаций против арабских стран. 4 июня израильская артиллерия подвергла обстрелу иорданскую территорию. Самолеты Израиля совершили налеты на Иорданию. Сильно пострадал город Ирбид. По просьбе журнала «Огонек» посол Иордании в СССР г-н Абдулла Зурейкат ответил на вопросы корреспондента журнала А. Сербина.

— Какова реакция в Иордании на новые провокации израильских агрессоров?

— Начиная агрессию год назад, Израиль хотел поставить арабов на колени, принудить арабские государства согласиться с израильскими притязаниями, сломить режимы в ОАР, Сирии и других арабских странах. Но агрессоры не смогли добиться своих политических целей. Сейчас они снова пытаются достичь их. Они сосредоточивают силы против Иордании, считая ее слабым звеном в арабском мире, рассчитывая навязать ей сепаратно свои условия. Но правительство и народ Иордании знают, чем это грозит, готовы отразить агрессию и никогда не сдадутся агрессорам на милость. Народ и армия нашей страны готовы сражаться до последнего человека.

— Какова роль арабского единства в современной обстановке?

— Значение единства арабских стран трудно переоценить. Арабская солидарность в настоящее время проявляет себя сильнее, чем раньше. Она находит свое отражение в том, например, что на нашей территории сейчас присутствуют войска Саудовской Аравии и Ирака, которые готовы сражаться против агрессии. Сирия готова сотрудничать в военной сфере и других областях. Иордания поддерживает контакты с другими арабскими странами.

— Как оценивается в арабском мире советская политика на Ближнем Востоке?

— События на Ближнем Востоке доказали, что Советский Союз — первый и самый искренний друг арабов. Арабы никогда не забудут той большой роли, которая принадлежит Советскому Союзу в помощи арабским странам. Эта помощь и поддержка были оказаны им и до и после израильской агрессии. Если бы не она, то даже трудно представить себе катастрофические последствия агрессии. Арабы благодарны Советской стране за поддержку, оказанную им в политической сфере, в Организации Объединенных Наций. У нас, как и у вас, есть пословица: «Друг познается в беде». Пройдя суровые испытания, мы полностью уверены теперь в Советском Союзе, как в искреннем друге.

Наша собственная решимость, арабская солидарность, поддержка и помощь со стороны Советского Союза, социалистических стран и всех миролюбивых народов — вот что позволяет сказать: агрессорам не удастся добиться своих целей.

Валентина Ивановна Гагарина с дочерью Леной читают письма, пришедшие в «Огонек».



НАШ ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

К 70-летию со дня рождения Михаила Кольцова

Тот, кто знал Михаила Кольцова, никогда не забудет его — он был небольшого роста, наполнен клокотавшей энергией, подвижен, как мальчик-подросток. Временами он искрился весельем и жизнерадостностью, временами становился серьезным, строгим, сосредоточенным, сдержанным. Впрочем, никто никогда не видел его важным, сановитым, надменным, высокомерным. Эти свойства были начисто чужды ему.

Он пользовался большой прижизненной славой. Его знали все! Каждый его фельетон, очерк, корреспонденция неизменно привлекали внимание самого широкого круга читателей. Раскрывая газету, люди искали на ее страницах фамилию Кольцова и, если находили, радовались. Перо у него было острое, изящное, умное, журналистская хватка — железная, наблюдательность — умение увидеть, найти факт, придать ему широкое общественное звучание — всеохватная. Он искусно владел любыми видами журналистского мастерства, всеми жанрами, но чаще всего выступал как фельетонист, очеркист, публицист. Его подвижность и мобильность были изумительны. Сегодня он находился в Женеве, в гуще сложных международных событий, через несколько дней — где-нибудь в Мурашах, в ту пору глухомани. При тогдашних средствах передвижения это казалось волшебством. Он изъездил весь Советский Союз, всю Европу. Никакие трудности, сложности и расстояния не останавливали его. Он в числе первых советских людей перелетел через Гиндукуш, что в те времена было вполне героическим делом,— всесильных и могущественных лайнеров тогда не существовало.

Он почти никогда не писал, а диктовал, прохаживаясь по комнате, медленно цедя слово за словом, но каждое на ходу найденное слово было точным, весомым, ложилось именно туда, куда нужно, и уже после диктовки никакой правки не требовалось. С таким же успехом он в случае необходимости мог диктовать прямо на линотип, без всякого риска засорить набор «козлами».

Это был журналист, литератор, как говорится, «божью милостью», как бы рожденный именно для своей деятельности.

Каждый день его ждала огромная почта популярнейшего фельетониста, а в часы обязательного приема у дверей редакционной комнаты (слова «кабинет» он не выносил) выстраивалась очередь, словно к модному врачу-гомеопату. К нему обращались с самыми многообразнейшими делами и жалобами — большими и малыми: тот нуждался в крыше над головой, этому надо было «пробить» свое изобретение, этой — вернуть сбежавшего мужа, этому — найти управу на бюрократа или волокитчика. Считалось так: если Михаил Ефимович возьмется за дело, значит, толк будет!

Но Михаил Кольцов был не только боевым журналистом, талантливым партийным литератором, но и блестящим организатором, деловым человеком, у которого все кипело в руках.

В 1923 году, когда ему не было и 25 лет, он организовал журнал «Огонек», вскоре завоевавший большую популярность у читателей. Работая в «Правде», он одновременно редактировал «Огонек», «Крокодил», «Чудак» и еще несколько журналов.

Как он успевал? Эта загадка решается легко, если знать одно удивительное кольцовское свойство: он с завидной легкостью умел привлекать к себе людей, выбирать среди них умных и талантливых сотрудников, заражать их своей энергией, делиться с ними жаром своего сердца. Он мог прощать им любые несовершенства характера, будучи при этом абсолютно нетерпимым к серости. Вот этого он никому не прощал и не извинял.

Он никогда не мешал людям работать, не давил на них силой своего авторитета и известности, умея так поставить дело, что любой «выкладывался» весь, без какого бы то ни было административного нажима.

И как первоклассный мастер советского фельетона он действовал так же. Он был признанным мэтром, но при этом отнюдь не требовал, чтобы его коллеги писали «под Кольцова», «учились у Кольцова». «Каждая собака должна лаять тем голосом, какой ей дал господь бог»,— любил он повторять шутливую фразу. Но его поощрительная улыбка, вскользь брошенное словцо «молодец» стоили дорого!

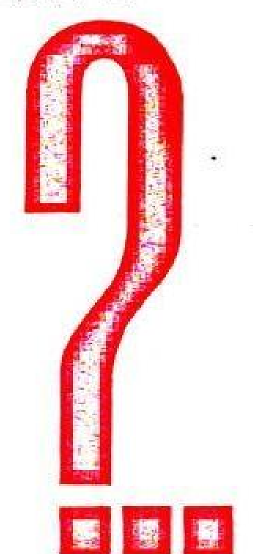
Он тонко понимал, что фельетон — это не балагурство, не забава, не анекдотец; он говорил, что если читатель улыбнется при чтении фельетона один раз — это очень хороший фельетон, два раза — отличный. Он неоднократно повторял, что фельетонист должен работать «на чистом сливочном масле», иначе говоря, на проверенных и весомых фактах, не разбрасываться по мелочам и помнить, что рубрика «фельетон» над заметкой или корреспонденцией еще не делает их фельетоном, являющимся самым сложным и ответственным журналистским жанром.

Прошло почти тридцать лет, как не стало Михаила Кольцова. Но фельетоны его живы и сейчас, они не потушены временем. Живет и его книга об Испании, где он был в самый разгар волнующих революционных событий, где имя его — Мигуель, в испанском произношении,— было чрезвычайно популярно. Жив он и сам, ибо истинный талант никогда не умирает.

Ник. КРУЖКОВ

Ю. СЕЛЕНСКИЙ

КУДА ВПАДАЕТ ВОЛГА



Проверим одну истину: впадает ли Волга в Каспийское море? Сначала, чтоб не смущать школьников и учителей географии, ответим на этот вопрос положительно: впадает!

А теперь поставим вопрос иначе: можно ли сегодня по Волге доплыть до Каспия? Как сказать! В прошлом году три дотошных морехода из восьмого класса совершили такое плавание на ловецкой лодке-бударке, но, к величайшему своему изумлению, до моря не добрались.

Впрочем, что школьники! Бывает, что даже люди пожилые, много ездившие по стране, наблюдательные и вездесущие, какими и надлежит быть журналистам, с детским любопытством спрашивают: «Далеко ли от Астрахани море?» Им, очевидно, представляется географическая карта, где в дельтообразном треугольничке волжского устья красуется кружок с обозначением «Астрахань». Ободок окружности почти касается морского побережья. Приходится, не скрывая иронии, отвечать: «Раньше, знаете, город был както ближе к морю. Бывало, пойдут девчата белье полоскать, глянь, а вода в Волге мутная, так они прямо на Каспий чешут...»

Перейдем, однако, к фактам. В 1722 году Петр Первый подъехал на ботике прямо к Никольским воротам Астраханского кремля, расположенного на невысоком холме.

С тех пор много воды утекло. Волга значительно сместила свое русло. Три густонаселенные улицы отделяют ныне набережную Волги от того места, где некогда приставали барки и расшивы, беляны и боты.

На картах конца прошлого столетия не встретишь упоминания об острове Искусственный. Он был построен в 1929 году в открытом море и представлял собой насыпной холм, укрепленный бетонными, панцирными плитами, на которых стоит маяк. На свет этого маяка выходили суда, идущие из Баку, Красноводска, Махачкалы и форта Шевченко. Теперь маяк погашен, а до острова можно добраться пешком. Еще раньше погасили огонь четырехбугорнинского маяка, свет которого служил парусным судам. Теперь по его башне ориентируются только чабаны, ведущие отары на водопой. Возле островов Иван-Караул и Петра сердито урчат тракторы с камышекосилками.

Обмеление Каспия заметно более всего в северной его части. Мелководье стало народнохозяйственной проблемой. И я вспоминаю о ней вовсе не для того, чтоб ввязаться в затянувшийся спор: «Что будет с Каспием?» Высказывалось много советов, как помочь морю. Среди них были и откровенно наивные, например, предложение отгородить Северный Каспий земляной дамбой, и весьма спорные, вроде поворота северных рек на юг.

Я вспоминаю об этой проблеме только потому, что скоро исполняется сто лет с тех пор, как несколько поколений людей, не избалованных известностью, настойчиво и тихо делают дело огромной важности. Если бы не их труд, Каспий давно уже был бы отрезан от двух важнейших рек: Волги и Урала. Эти люди — дноуглубители. И пока составляются более или менее утешительные прогнозы, пока накапливаются силы для действенных мер по решению сложнейшей проблемы Каспия, они буквально сдвигают горы...

Но все-таки впадает ли сегодня Волга в Каспийское море? Если рассуждать формально, то вроде бы Волга, как таковая, давно уже в море не впадает. Сложное устье великой реки слагается из нескольких крупных рукавов и множества мелких. Некогда основным рукавом, катившим свои воды в Каспий, была Старая Волга. Позже основным стал Бахтемирский рукав, а Волга, коей плыли и Афанасий Никитин и струги Степана Разина, затерялась в обмелевшем заливе-култуке. Сегодня ее от моря отделяют огромные, заросшие камышом косы и обсохшие острова. Не будь дноуглубителей, подобная участь постигла бы все волжские рукава.

Протоки с системой мелких ериков называются в наших местах банками. Самый важный из них — Главный банк. Это рукотворный, созданный людьми Волго-Каспийский канал. Полистайте лоцию, справочники и специальные наставления — и вы убедитесь, что он стоит в числе крупнейших каналов. Не путайте его с Волго-Доном, Беломорканалом и другими речными каналами. Волго-Каспийский состоит в ранге морских каналов и живет по законам моря.

Длина его постоянно удлиняется.

Подсчитано, что если собрать весь грунт, поднятый со дна моря за 94 года, то его хватило бы для того, чтобы завалить русло любого искусственного канала. Впрочем, это мрачный пример. В «Каспрейдморпути» нам предложили другое сравнение: попытались весь этот грунт разместить в современных самосвалах, но после первых же подсчетов махнули рукой: выяснилось, что всех самосвалов в мире не хватило бы.

Так куда же девалась земля, поднятая со дна моря? Прорезав устьевой бар и уходя все дальше в море, земснаряды откладывают грунт за бровки канала, углубляя и, говоря профессионально, «уширяя» его. Образовалась как бы река в море — судоходный путь, связывающий Европейскую часть Советского Союза с портами Каспия.

Народнохозяйственное значение этого морского пути неоценимо. Еще совсем недавно, когда наша страна имела единственный источник нефти — Баку, именно этим путем перевозили большую часть нефти для всей советской промышленности. Новые нефтеносные районы не исключили его важности. Современные суда рыбников и торгового флота пришли на Каспий, обогнув Европу. Из Баку лежит водная дорога в Одессу, Ленинград.

А как у волжан с техникой? Конечно, она здесь новая да новейшая. Но есть тут и чудо дедовского рабочего и инженерного умения — земснаряд «Сормово». На его борту орден Трудового Красного Знамени. Этого ордена экипаж удостоен еще в 1921 году за выполнение правительственного задания по углублению бухты, носящей теперь имя Ильича. А построен ветеран в 1912 году.

Земснаряд этот — гордость «Каспрейдморпути». Однако 62 инженера и техника, работающие сегодня на канале, могут гордиться и новинками. В последнее время технический флот пополнился современными дизель-электрическими судами, насыщенными средствами автоматики, почти исключающими ручной труд. Специалисты канала разработали радиорейку — любопытнейший прибор, позволяющий промерять уровень стояния воды автоматически и данные передавать судоводителям по радио.

Еще в 1952 году вдоль всего канала стояли лодки-«огневки», их обслуживали десятки фонарщиков, а за маяками наблюдали «смотрители огней». Фонарь «летучая мышь» сменили ацетиленовые фонари с автоматом «солнечный клапан». Сегодня тут стоят электропроблесковые аппараты, которые буквально стреляют в темноту.

...Ночью канал напоминает проспект в море, весело мигающий красными и белыми огнями. Но нельзя быть благодушным: у «проспекта» крутой характер. Судоводители знают все его капризы, как раньше это знали лоцманы.

В седую старину был великий водный путь: путь из варяг в греки, соединявший Новгород с Киевом. Вообразите такое: с трудом добравшись от Ильмень-озера до Киева, бедные варяги узнали бы, что Днепр в устье обмелел и дорога к грекам... кончилась. Подобное могло бы случиться и ныне с великим путем современности — Волго-Балтом, если бы Волга не завершалась каналом. И если кто-то из вас собирается совершить путешествие по воде от берегов Белого до берегов Каспийского моря, пожалуйста, путь свободен! Волга, как и всегда, впадает в Каспийское море!



50 ЛЕТ В ПОЛЕТЕ

«В кабине не было ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни салфеток. Протянув руку к контейнерам с пищей, я достал первую тубу. На Земле она весила примерно полтораста граммов, здесь же, в космосе, не весила ничего. В тубе содержался суп-пюре, который я принялся выдавливать в рот, как зубную пасту. На второе таким же манером я поел мясной и печеночный паштет и все запил черносмородиновым соком, тоже из тубы. Несколько капель сока пролилось из нее, и они, как ягоды, повисли перед моим лицом. Было интересно наблюдать, как они, чуть подрагивая, плавают в воздухе. Я подобрал их на пробку от тубы и проглотил».

Это рассказывает заместитель главного редактора журнала «Авиация и космонавтика», Герой Советского Союза Герман Титов.

В июне 1918 года вышел в свет первый номер военно-авиационного журнала «Вестник Воздушного Флота», из которого впоследствии вырос журнал «Авиация и космонавтика».

От статей о первых советских авиационных отрядах, боровшихся на фронтах гражданской войны, до материалов о сверхзвуковой, ракетоносной, межконтинентальной авиации современности. От прославления мужества и отваги авиаторов, проявленных в борьбе за власть Советов, в исторических беспосадочных перелетах, в боях против фашистских захватчиков, до описания романтики полетов на сверхзвуковых скоростях, репортажей с космодрома и Звездного городка, рассказов о победах на орбитах Вселенной. Страницы журнала — подлинная летопись отечественной авиации, боевые биографии лучших летчиков, техников, командиров, инженеров и ученых.

Ни одно крупное событие в советской космонавтике, вступившей в свое второе десятилетие, не оставлено без внимания журнала. На его страницах выступают крупнейшие советские ученые, инженеры, испытатели, представители авиационной и космической медицины, специалисты, готовящие и обеспечивающие космические полеты, и сами космонавты. В юбилейном номере журнала будет рассказано о последних достижениях авиационной техники, о новых космических экспериментах, о полетах на просторы Вселенной, о питании космонавтов, о насущных проблемах, которые изо дня в день решают исследователи космоса.

Стартуют космические корабли. Уходят в полет крылатые защитники мирного неба Родины. День за днем трудятся в Пятом океане грузовые и пассажирские самолеты. И недалек тот день, когда самолет выйдет на космическую орбиту и после полета приземлится на аэродроме. Две дороги — дорога летчиков и дорога космонавтов — сольются.

Землесос «Сормово» непрерывно расчищает и углубляет дно Волго-Каспийского канала.

Фото Б. Кузьмина.

Рыбаки колхоза имени Ленина, Икрянинского района, ведут лов красной рыбы.

Капитан теплохода «Юг» Павел Иванович Соколов.

Днем и ночью идут суда по каналу.

Ю. ЛУШИН, собкор «Огонька»

Шейк, „идолы“ и хорошее настроение

Вот так все и произошло. Пока оркестранты собирали свои инструменты, пока гардеробщицы подавали пальто любителям танцев, уборщица тетя Мотя находилась внизу. Потом поднялась наверх. Танцевальный зал отдыхал от неистовых ритмов шейка, и никто не мешал ей философствовать про себя:

«Это ведь надо! И что за танцы такие, прости господи, выдумали. Все трясутся, а друг на дружку-то и не посмотрят. Шаманы, право слово. Идолы... И вино опять пили,— заметила она пустую бутылку в углу.— Неужто и здесь нельзя обойтись?..»

Глухой удар и звон разбитого стекла заставили ее вздрогнуть. Она засеменила к выходу, но успела заметить только темную тень в дверях. Разве догонишь! Толстая стеклянная перегородка заводского музея змеилась трещинами. Снова стало тихо. Субботние танцы в Доме культуры завода «Сибсельмаш» окончились.

Скажете: частность, редкий и досадный случай? Возможно.

На следующий день меня пригласили в тот же Дом культуры. Заводское литобъединение готовилось отметить свое двадцатилетие, и его бессменный руководитель Иван Архипович Кузнецов знакомил меня с местными поэтами и писателями. Слушали лирические стихи и отрывок из поэмы «Мерзлота» молодого рабочего Лени Носарева. Делились впечатлениями...

Во время перерыва я вышел в фойе. В танцевальном зале вновь бушевал шейк. Виртуозы в расклешенных брюках с каменными лицами выделывали умопомрачительные па. Дилетанты нелепо всплескивали руками и на своих кумиров были похожи разве что каменностью выражения лиц. У подоконника трое открыто разливали по стаканам портвейн. Оказывается, его столь же открыто продавали в буфете. У стеклянной перегородки сидела все та же тетя Мотя.

Я подошел к двум парням, представился и спросил, давно ли они работают на заводе. «Что вы! — удивились они.— Мы студенты. Живем поблизости, приходим послушать оркестр. А рабочих... Мы не уверены, встретите ли вы их здесь». Тут пришла моя очередь удивляться. Но, увы, Слава Манохин из станко-строительного техникума и Виктор Мельников из физкультурного оказались правы. Из пятнадцати опрошенных — ни одного рабочего. Это в заводском-то Доме культуры! А на вопрос «Что привлекает вас сюда?» большинство отвечало: «Да близко тут... Опять же оркестр хороший». А один, отказавшись назваться, так прямо и сказал: «Здесь это самое продают,— изобразив красноречивым жестом бутылку.— И весело...»

Грустно смотрел я на красочные стенды с фотографиями рабочей династии Казановых и сценами из спектаклей народного театра. Стенды рассказывали, что только за год ДК дал более двухсот концертов художественной самодеятельности, что здесь работают шестнадцать разных кружков, изостудия и т. п. Вся эта уйма хороших сведений довольно резко спорила с вышеприведенными диалогами. Мне захотелось разрешить этот спор, и я без промедлений отправился в рабочее общежитие завода «Сибсельмаш», благо их было целых три и все рядом, буквально за стеной Дома культуры... Вот кое-что из услышанного мной.

Василий Щербаков, 19 лет, токарь второго разряда, на заводе около трех лет: «Клуб хороший, правда, порядка там маловато. Особенно на танцах... Бываю раза три в месяц».

Владимир Аржанников, токарь, 19 лет, комсомолец: «Работаю на заводе год. Был в клубе один раз, на концерте...»

Николай Козлов, шофер, недавно демобилизовался из армии. Говорит, не прерывая игры на баяне: «Живу месяц. В клубе не был. Почему? Сам не знаю. Может, и пойду...»

Валерий Наумов, мастер-электрик, 28 лет, работает на заводе три года, студент-вечерник последнего курса электротехнического института: «А я вот скептик. Ну, скажи, что я там не видел? Кружок кройки и шитья? На танцах — хулиганье и пьяные. Порядка нет. Вот когда наведут порядок, тогда и ходить буду... Об отдыхе молодежи на заводе не думают. Посмотри, разве это общежитие?»

Справедливости ради надо сказать, что в общежитии действительно неуютно. Ни в одной комнате нет шкафа для одежды. Рабочая и парадная, она висит и валяется как попало на спинках кроватей и стульев. Вместо графинов литровые эмалированные кружки. Ничего не скажешь — железный сервис.

Но меня смутило другое — равнодушие молодых, ожидающих, когда какой-нибудь дядя со стороны придет наводить порядок у них в клубе и в общежитии. Но позвольте! Дом культуры-то ваш и для вас. Придите в него и устройте себе отдых по вкусу, выгоните хулиганов, замените портвейн на кофе...

— Не идут,— жаловалась директор ДК — Дома культуры — Раиса Алексеевна Миронова.— Комсомол активного участия в работе не принимает. Мы их силком сюда затаскиваем, но разве хватит сил!.. Теперь решили заняться социологией. Распространяем на заводе анкету, спрашиваем в ней: что? как? почему? Вот так и работаем... Самодеятельность держится на давних энтузиастах. В кружках в основном молодежь и школьники, живущие поблизости. Что еще есть в клубе? Очень много. Агитбригады, тематические вечера, университет культуры...

— Правление ДК работает плохо. Член завкома Ким Иванович Болгов, отвечающий за работу клуба, тут не бывает.— Это уже говорит актер народного театра Владимир Овчаров.— Теперь посмотрите сюда... и сюда... и сюда. Разве это мебель? Разве захочет рабочий просто так прийти в клуб, посидеть, поговорить, встретиться с друзьями? Никогда.

А ведь Дом культуры имени К. Цеткин завода «Сибсельмаш» считается одним из лучших в Новосибирске.

Теперь перейдем улицу наискосок и окажемся прямо перед Домом культуры металлургов, о котором говорят как об отстающем. Услышал я здесь примерно то же, что слышал в «передовом». Речь шла о большом количестве всевозможных кружков, о прекрасном кинолектории (в других ДК то же самое называется киноуниверситетом), клубе любителей музыки «В мире прекрасного», об агитбригаде, клубе литературных встреч, гостями и участниками которого были Илья Фоняков, Афанасий Коптелов, Виктор Соснора, Олжас Сулейменов... Здесь нет народного театра, но есть драматическая труппа, которую составляют школьники,— и ни одного рабочего. Почему?

— Не идут,— отвечает директор Антонина Ефимовна Новикова.

А дальше пошло — про пассивность комсомола и завкома, про нехватку мебели и т. д. Но было и другое. ДК существует всего пять лет. И за это время в нем сменилось пять директоров и очень много, по словам Антонины Ефимовны, художественных руководителей. Сама она директорствует всего полгода, а художественный руководитель Валентин Эдуардович Барановский пришел совсем недавно. Дом культуры находится на отшибе, на пустыре. Вечером к нему и пройти-то страшно (это говорили парни). В Доме культуры двадцать плановых кинодней в месяц. Фильмы идут вторым экраном. Что это значит? Это значит — единственный зал со сценой постоянно занят и постоянно полупустой. План не выполняется. Прибавьте к двадцати кинодням выходные и спросите: когда и где заниматься самодеятельности?

И еще. Основная масса рабочих живет далеко отсюда. В тех районах есть, как правило, и кинотеатр и какой-нибудь другой клуб... А сюда не идут.

Еду на металлургический. В парткоме слышу стереотипную фразу: «Работа по клубу ведется громадная». Зато секретарь комитета комсомола, веселая и пышущая оптимизмом Аня Афанасенко откровенно сказала: «Домом культуры не занимались совершенно». Попыталась вспомнить, когда в последний раз был молодежный вечер, и не смогла. Так же откровенно сказала, что не считает основной причиной «вакуума» в ДК его чисто географическое положение.

— У нас пока только хорошие планы. Тут и конкурсные вечера самодеятельности цехов, и диспуты, и клубы по интересам... Но это же только планы... Загляните к нам через полгода...

А я заглянул раньше. Комсомольцы наконец стали помогать Дому. При их активном участии созданы и действуют клубы «Молодого рабочего» и «Молодого воина».

Был я и в общежитии металлургов. В нем гораздо приятнее, чем у сибсельмашевцев. Но относительно ДК разговоры примерно все еще те же:

— Не ходим в клуб потому, что там скучно...

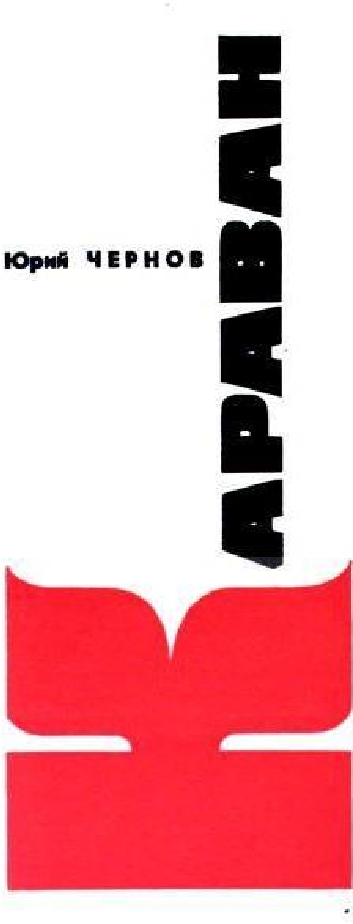
Что ждут рабочие от своего клуба? Чтоб там было весело, чтоб интересно, чтоб ты уходил оттуда с хорошим настроением, чтоб... Ну, в общем, весело и интересно. Но тут начинается разлад идеала с многообразием представлений о том, что есть весело и интересно. Одному, оказывается, весело только на танцах. И интересно тоже. Другой удовлетворится томиком стихов и концертом симфонической музыки. Третий почти ежевечерне терзает гармонь, приводя себя в приятное расположение духа и вызывая разлив желчи у соседа, который обожает скрипку. Как тут быть? Сколько людей — столько и вкусов. Клубы, дома культуры стараются угодить всем. Каких кружков только тут не встретишь! Возможно, так и надо. А не стоит ли поспорить вот о чем: должен ли каждый клуб быть сильным во всех отношениях? Думается, что нужен какой-то стержень, что-то главное в деятельности каждого клуба. Допустим, в одном существует интереснейший клуб литературных встреч и нет там условий для создания народного театра. Может, и не стоит мучиться над его созданием? Не тут-то было. Вступает в силу железная логика подсчета очков при подведении итогов деятельности клуба. Нет народного театра — запиши минус. А вот что я услышал от заведующей культурно-массовым сектором областного совета профсоюзов Надежды Андреевны Корольковой:

— Сегодня я мыслю себе клуб так: человек должен приходить в него как домой. Может быть, выпить чашечку кофе, или сыграть в шахматы, или просто поговорить с другом... В наших ДК этого нельзя сделать просто потому, что в них нет условий. В городе сорок три профсоюзных клуба. Четырнадцати из них мы присвоили звание Домов культуры. Но, честно говоря, не все этого звания достойны. Большинство домов культуры построены в давние годы, там попросту негде повернуться. Во многих разместились чужеродные организации, начиная с телеателье и кончая технической библиотекой и загсом. Прав вытеснить их у нас нет, а уговоры наши они слушают, как известный кот в известной басне Крылова... Что касается остальных клубов, то это, как правило, небольшой кинозал, задавленный непомерным планом, а штат — директор да кассир. К тому же клуб еще должен выдержать конкуренцию с театром, телевидением и домашним уютом. Нет, конечно, не все у нас плохо. Побывайте, например, в Доме культуры имени Жданова...

Я послушался совета Надежды Андреевны и не пожалел.



Семен Иванович Аралов.



Караван дружбы

Юрий ЧЕРНОВ

Он много раз бывал в этом кабинете. И точно знал, сколько минут отведено ему, строго планировал время, заранее продумывал ответы на возможные вопросы. Но сегодня Семен Иванович шел к Ленину вместе с Чичериным, впервые шел не по военным делам, а в новой для себя роли посла. Владимир Ильич быстро поднялся из-за стола. Он протянул руку Чичерину, спросил о здоровье.

Георгий Васильевич замялся. Видимо, он хотел сказать обычное «вполне здоров», но Ленин не выпускал его руку и внимательно смотрел прямо в глаза.

— Спасибо, не жалуюсь,— уклончиво проговорил наконец Чичерин.

Ленин поздоровался с Араловым, окинул его быстрым взглядом и удовлетворенно сказал:

— Так, батенька, кончили воевать, дипломатом стали, хорошо!

Он еще раз взглянул на хорошо сшитый штатский костюм Аралова и жестом пригласил садиться.

Семен Иванович сел слева от стола и пожалел: за спиной висела небольшая карта границ России с Турцией и Персией. Граница с Турцией была четко очерчена карандашом. Аралов помнил эту карту и полагал, что разговор пойдет, как и в недавние военные времена, у карты. Но карта Ленину не понадобилась. Он молча прошелся между письменным столом и пальмой, едва не коснувшись ее веерообразной ветки.

— Ныне вам поручается большое дело,— сказал Владимир Ильич, обращаясь к Аралову, и Аралов заметил, как явственно подчеркнул Ленин слово «большое».

Секунду-другую помолчав, он заговорил о том, как империалистические хищники слетелись в Турцию на кровавый дележ ее богатств, как рвет ее на части Антанта и как, конечно, не упустила бы такого случая царская Россия. Но теперь...

Ленин ладонью резко разрезал воздух, решительно отделяя прошлое от настоящего.

Чем больше слушал Аралов Владимира Ильича, тем отчетливее представлял свою роль, роль советского посла.

Обычно послы буржуазных держав отправлялись в чужую страну, чтобы искусно скрывать правду; ему предстояло ежедневно и ежечасно раскрывать правду трудящимся. Иностранные дипломаты изощрялись, как половчее разделить Турцию, прибрать к рукам куски пожирнее. Нашей дипломатии предстояло повести борьбу за целостность и независимость Турции.

Чичерин вдумчиво смотрел на Ленина поверх очков, иногда наклонялся к столу, делая пометки в блокноте. Клинышек его бородки то подымался кверху, то упирался в грудь. Аралов положил руки на широкие подлокотники кожаного кресла и впитывал каждое слово. Он понимал, что, быть может, впервые Владимир Ильич размышляет вслух о роли советского посла.

Ленин говорил с присущей ему энергией. Царские дипломаты подкупали великих визирей. Наше дело — дружить с народом. Продуманное, пережитое жило в его глазах, в его жестах, в его убеждающей речи. Он протягивал руку, как бы подавая собеседнику отлитую фразу. Речь шла и о самом трудном. Как-никак царская Россия веками воевала с Турцией. Веками накапливались вражда, неприязнь, недоверие. Раны эти глубоки, зарубцуются не сразу. Нужны внимание, большое терпение, такт, уважение к национальным особенностям.

— Разницу между царской Россией и Россией советской надо показать не на словах, а на деле...

Ленин снова прошелся, на сей раз небыстро, раздумчиво, глаза его посуровели.

— Помочь материально Турции мы сможем, хотя и сами бедны...

Он приблизился к Аралову. Семен Иванович поднялся. И Ленин, прощаясь и желая благополучного пути, доверительно коснулся плеча Семена Ивановича, легонько подтолкнул его: мол, действуйте, не пасуйте, всегда поддержим...

Улица обдала Аралова ветром, кружащимся снегом, а поток прохожих подхватил его и увлек за собой. Семен Иванович не успел и подумать, в какую сторону ему идти. Но он не останавливался, он шел, продолжая чувствовать прикосновение Ильича, и улыбался его неожиданному вопросу:

— С семьей едете? Обучите детей турецкому.

Вот и Москва-река. Берега прихватило ледком, а по центру несло побуревшую шугу.

— Течет,— сказал вслух Аралов, но подумал не о реке, а о времени. Казалось, давно ли Ленин подписал обращение к народам Востока, провозгласил их право на самоопределение... А как всколыхнулся Восток! И Персия, и Афганистан, и, конечно, Турция.

Последние недели Семен Иванович с утра до вечера знакомился с материалами об этой стране. Он, кадровый военный, хорошо представлял себе положение в ней: побежденная в мировой войне, разодранная в клочья Англией, Францией и Грецией, Турция не поднялась бы без нашей поддержки.

«Товарищ Фрунзе на днях выедет в Анкару от Украинской республики,— вспомнил Семен Иванович слова Ленина.— По-видимому, вы с ним встретитесь».

«Вот удивится Михаил Васильевич, если увидит меня в Анкаре!» — подумал Аралов и зашагал в сторону дома.

* * *

Черное море было по-зимнему неприветливо: маленький колесный пароход «Феликс Дзержинский» подымало и опускало на волнах, кренило с борта на борт. Он постанывал и поскрипывал в кипящей кутерьме шторма, обдаваемый пенными брызгами, исхлестанный сырым ветром. Сотрудники посольства на палубе почти не показывались. Ветер загнал их в каюты.

— Надолго это?— спрашивали капитана.

— Только разыгрывается.

Впрочем, еще в Батуми сотрудники посольства настроились на долгий и нелегкий путь. В Константинополе владычествовали англичане и султан. Мустафа Кемаль-паша находился в Анкаре. В столицу новой Турции предстояло добираться через равнины и горы Анатолии караванным путем.

Днем в каюту посла зашел военный атташе Звонарев.

— Не хотите ли пройтись по палубе?— обратился он к Аралову и, видя, что дети тоже начали собираться, добавил:

— А ребятам лучше в каюте. Ветер усилился.

На палубе он передал Семену Ивановичу бинокль, прокомментировал:

— В море нежданный гость.

Бинокль выхватил кусок колышущейся воды и дальние дымки эсминца.

— Кто бы это?

Аралов и Звонарев поднялись на капитанский мостик. Скоро выяснилось: эсминец турецкий.

— Не «Эддин Рейс»? Не «Превеза»?— допытывался Семен Иванович.

— Название прочесть не могу,— ответил капитан. И тут же полюбопытствовал:— Откуда послу известны названия турецких кораблей?

— «Эддин Рейс», «Превеза» и «Шахинн»—первые ласточки дружбы между Советской Россией и новой Турцией,— объяснил Аралов и рассказал эпизод, слышанный из уст Георгия Васильевича Чичерина.

В конце 1920 года в Синопе англичане захватили три турецких корабля. Моряки отказались служить султану. Суда были разоружены. Но команды увели корабли из английского плена.

«Помогите!»— обратился к Советскому правительству Кемаль-паша.

По указанию Ленина турецкие суда были взяты под защиту береговой обороны Новороссийска. Моряков встретили по-дружески, обеспечили продовольствием. Корабли вооружили и возвратили Турции...

Шторм не ослабевал. «Феликс Дзержинский» вспарывал волны, неуклюжие колеса упрямо двигали пароход. А впереди уже громоздились горы, усеянные белыми домиками, вился легкий дымок человеческого жилья и лениво мигали сигнальные огни Самсуна.

* * *

Застоявшиеся кони переминались с ноги на ногу, подрагивали от нетерпения. Аралов и Звонарев сдерживали их, желая с горного склона получше разглядеть Самсун. Город по каменистым террасам сбегал к воде. Бухта, с трех сторон, как подковой, зажатая горами, подымала на железных сваях над морем бревенчатый настил пристани. А вон и светло-серый колесный «Феликс Дзержинский». На мачте колыхался красный флаг. К пароходу подплывали турецкие лодки.

Кони, цокая копытами, пошли вдоль длинной улицы с двух- и трехэтажными домами. Первые этажи, как правило, были каменные, а надстройки деревянные. Из окон часто выглядывали любопытные, порой приветственно махали руками. Иностранцев легко угадывали, к тому же в Самсуне знали, что прибыл русский посол.

Аралов и Звонарев выехали за город, чтобы встретить Фрунзе. Он возвращался из Анкары. Фрунзе издали узнал соотечественников, подстегнул усталого коня и вырвался вперед. Михаил Васильевич был в длинной шинели, в серой каракулевой папахе. Он легко и привычно соскочил с коня, а подоспевшей свите — красноармейцам и аскерам — махнул рукой: мол, поезжайте!

Лошадей повели на поводу. Михаилу Васильевичу хотелось поделиться впечатлениями, ввести в курс дела Аралова и Звонарева.

Он заговорил о том, что в Рос-

сии трудно было в полной мере представить, какой отклик здесь получило обращение Ленина к народам Востока. Оно долетело сюда вслед за раскатами Октября. И откликнулись самые широкие слои: крестьяне, рабочие, аскеры, интеллигенция, прогрессивная часть буржуазии. Решение было всеобщим и безоговорочным: не допустим иностранного ига! Очистим свою землю! Во главе национально-освободительной войны стал Мустафа Кемаль-паша. Регулярная армия только сколачивается. Партизанские отряды разрозненны.

— Помните первое время у нас, на гражданской?— спросил Фрунзе.

Аралов кивнул.

— Между прочим, очень похоже,— добавил Михаил Васильевич.

Положение, как нарисовал его Фрунзе, было сложным. Антанта натравила на турок Грецию. Наемники султана организуют мятежи. Разжигается религиозный фанатизм. Кемалю очень трудно. Но настроен он решительно, на полпути не остановится. В договоре, который вез из Анкары Фрунзе, так и сказано: «Отмечая существующую между нами солидарность в борьбе против империализма...»

— Война становится всенародной,— продолжал Михаил Васильевич.— Султан держится в Константинополе на английских штыках, но, думаю, и англичанам придется убраться. Многое даст, конечно, наша моральная и материальная помощь, наш опыт.

И тут Фрунзе, обращаясь к Аралову, лукаво спросил:

— Владимир Ильич не выдал меня? Я немножко повинен в том, что мы встретились в Турции...

Он вставил ногу в стремя и с шутливой лихостью скомандовал:

— По коням!

За поворотом дороги, за серым уступом холма, показались пригороды Самсуна, и мютесарриф — губернатор санджака — с представителями города вышел встречать прославленного полководца Красной Армии.

* * *

Караванный путь из Самсуна потянулся в горы,— унылые, поросшие колючим, щетинистым кустарником. Коллектив посольства — всего 25 человек — разместился на неуклюжих арбах, низко крытых брезентом. Сидеть приходилось чуть пригнувшись. Кое-кто поехал верхом.

Посольство охраняли конные аскеры: на дорогах было неспокойно, рыскали банды. Часто в ущельях прокатывались выстрелы, эхо отдавалось далеко-далеко, аскеры направлялись в сторону выстрелов, чтобы разведать обстановку.

Внизу клокотал Мерд Ирмак, шлифуя ребристые глыбы валунов. А дорога карабкалась все выше. Из-под копыт коней срывались камни, скатываясь в бездну. Арбы трясло и мотало на выбоинах.

Мютесарриф снабдил Аралова обстоятельным маршрутом, пометил места удобных стоянок, расположение постоялых дворов. Но маршрут явно был рассчитан на легких и стремительных кавалеристов, а не на груженые арбы, в которых ехали женщины и дети.

Семен Иванович решил сделать привал. Чуть в стороне от дороги, прилепившись к горе, как ласточкино гнездо, нависал домик. К нему подступили деревья небольшого сада. Аппетитно пахло сдобой, тянуло горьковатым запахом кофе. Приблизились — оказалась кофейня. По рукам пошли горячие булочки и маленькие чашечки с черным кофе.

С горных склонов, казавшихся пустынными, спустились мужчины. На головах тугими жгутами накручены шарфы, туловища перехвачены широкими поясами. Скрестив ноги, мягко, пружиня, они садились в траву. Садились чуть поодаль от сотрудников посольства и, будто невзначай, пытаясь скрыть любопытство, поглядывали на гостей.

К крестьянам подошел посол, пригласил их испить по чашечке кофе. С помощью переводчика завязался разговор. Трудно было понять, откуда эти люди, не читающие газет, не слушающие радио, отрезанные от всего света горами и границами, черпают сведения о революции, о России.

— Мы знаем, что Ленин отдал землю бедным,— сказал густобровый приземистый крестьянин, держа грубыми, задубевшими пальцами маленькую чашечку.

Аралов поинтересовался, есть ли земля у него.

— У меня вот столечко.— Крестьянин согнул пальцы, и ладонь стала маленькой и сморщенной.— Двадцать денюмов[1]. А у него,— показал на соседа,— только и земли, что под ногти набилось.

Крестьяне горько усмехнулись. Подошли женщины в широких шароварах со светлыми полосами, в красных кофтах, с тряпичными лохмотьями на ногах. Увидев незнакомых мужчин, они прикрыли покрывалом нижнюю часть лица, но не отошли.

Разговор внезапно прервал показавшийся на дороге караван. Впереди шел ослик. За ним медленно шествовали верблюды с большими ящиками, обернутыми белым полотном. На одном из ящиков был укреплен флажок с изогнутым полумесяцем и пятиконечной звездочкой. И, наконец, за верблюдами шли запыленные кони. Они тащили орудия, оставлявшие на дороге глубокие колеи.

— Русские пушки, русские пушки,— заулыбались турки,— это для Кемаль-паши.

Аралов без труда узнал орудия, которые еще недавно вели огонь по врагам Советской республики. И радость крестьян была ему понятна. Все они верили: прогонит Кемаль иностранцев, освободит землю и раздаст ее бедным.

Караван втянулся в ущелье, скрылся в сизоватой дымке. Настала пора продолжать путь и посольству. Крестьяне проводили гостей до дороги, а старик в выгоревшей барашковой шапке минут пятнадцать шел, не отставая. Потом он остановился, помахал рукою и что-то прокричал вдогонку отъезжающим. Переводчик объяснил, что старик желает каравану дружбы счастливого пути.

* * *

Анкара вилась и петляла кривыми, узкими улочками, карабкалась в гору к зубчатым стенам древней крепости, прижималась к земле ветхими лачугами, тянулась в небо белыми минаретами, бойко торговала жареным горохом и апельсинами. На перекрестках дымились котлы халвы, прохожих будоражили запахи пекарен.

В кричащей пестроте восточного города Семен Иванович Аралов прежде всего подмечал другое: марширующий на площади отряд аскеров, караван с боеприпасами и, конечно, плакаты, плакаты и плакаты, облепившие заборы и стены домов. Это были плакаты сражающейся страны. На одном из них — самом распространенном — изображался поверженный на землю враг. Он прикрывал себя рукой, но аскер добивал его штыком. Поодаль стояла женщина с ребенком на руках. Она ждала аскера с победой.

Аралов шел по улице, и повсюду его провожали глаза этой молодой женщины, в которых застыло тревожное ожидание. И даже в коридоре, ведущем в приемную Мустафы Кемаля-паши, он снова увидел турчанку, прижимающую к себе ребенка.

Вождь новой Турции принял советского посла в просторном кабинете. Он был в военном кителе; из-под широких, низко нависших бровей смотрели испытующие глаза. В последующие месяцы и годы Аралов не раз видел эти глаза в меджлисе и на фронте — немигающие, волевые, точно нацеленные.

Напряжение первых минут прошло, когда закончилась официальная церемония и Мустафа Кемаль-паша пригласил советского посла продолжить беседу за чашкой кофе.

Кемаль-паша был откровенен. Он рассказал Аралову, как следили в Турции за событиями в России, как реагировали на обращение к народам Востока. Он подчеркнул, что первым внешнеполитическим актом Великого национального собрания Турции было письмо на имя В. И. Ленина с предложением установить дипломатические отношения с Советской Россией и с просьбой оказать помощь в борьбе за независимость.

Аралова подкупила и тронула прямота, с которой Мустафа Кемаль-паша говорил о трудностях в стране, о нуждах армии. Чувствовалось: эта прямота диктуется доверием, внутренней убежденностью, что борьба против колониального гнета на Востоке — дело общее. Понимал он, что и России, разоренной войной, сейчас нелегко, и высоко ценил ее помощь...

Семен Иванович возвратился в посольство. Поскрипывали деревянные ступеньки. В комнатах и коридорах стояла тишина. В окно заглядывал молодой месяц — точь-в-точь как тот, трепетавший на флажке каравана с боеприпасами и орудиями, который шел из России и случайно повстречался на одной из дорог Анатолии.

Дети — все трое — спали на широкой тахте. Одеяло сползло, блики месяца и тени деревьев отразились на беленой стене. Семен Иванович поправил одеяло, постоял возле детей и вдруг заулыбался. Он вспомнил Ильича, его неожиданный вопрос и совет:

— С семьей едете? Обучите детей турецкому.

Тогда, пожалуй, это воспринялось как шутливое пожелание. Но сейчас словно смыло будничное значение этих слов. Конечно, речь шла о новых взаимоотношениях между народами, о их будущем, каким оно должно стать при наших детях.

---

[1] Денюм — 0,0919 га.

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

В одном из уголков кладбища в городе Кильмес (Аргентина) стоит высокий белый монумент. На фоне большого знамени из камня с начертанным на нем знакомым и близким словом «Мир» — фигура девушки с гордо поднятой головой и устремленным вперед взглядом. Одной рукой она крепко держит древко, поднимая ввысь это знамя, а другой поддерживает смертельно раненного юношу.

На смену отдавшим жизнь за дело народа встают новые герои, и они идут вперед, приняв от павших знамя борьбы,— вот смысл этого величественного монумента. Так народ увековечил память о своем верном сыне Хорхе Кальво, погибшем в борьбе за счастье, мир и социализм.

О герое аргентинского народа рассказывается в очерке «За счастье для всех», который вошел в книгу «Сильнее смерти». Эта книга представляет собой вторую из серии книг, посвященных героям международного коммунистического движения и подготовленных Институтами народов Азии, Латинской Америки, Мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Первая книга вышла в 1964 году под названием «Жизнь, отданная борьбе».

Аргентинскому герою — коммунисту Хуану Ингалинелья (очерк «Доктор Инга») принадлежат слова: «Мир для коммунистов — это центральный рычаг для широкой мобилизации и сплочения масс». Ингалинелья был арестован и убит в 1955 году. Его убили подло и трусливо — до сих пор неизвестно, где он похоронен. Возмущение народа этим убийством было так велико, что впервые в истории Аргентины власти вынуждены были осудить на разные сроки тюремного заключения полицейских чиновников за то, что они пытали и убили коммуниста.

«Рабочий, трибун, революционер» — так называется очерк о Гарри Поллите, который 26 лет возглавлял Коммунистическую партию Великобритании. Он умер именно так, как написал когда-то сам: «Если доведется умирать, то... убеждая, споря, борясь!»

Пальмиро Тольятти, Морис Торез, А. Зефков, Э. Бернард и многие другие — о них написана эта книга. Их нет в живых, но их самоотверженная борьба служит примером всем коммунистам.

В коммунистах, о которых рассказывается в этой книге, воплотились лучшие черты революционеров ленинского склада. Каждый из них креп и мужал в горниле жесточайших классовых боев. Они пали в неравном бою, но отважных не стало меньше. Приговоренные к смерти, они обвиняют своих палачей. Даже путь на эшафот они используют для того, чтобы пропагандировать свои идеи.

Но в книге прославляются не мученики, хотя многие из этих людей, о которых рассказывается, вынесли страшные пытки и были убиты. Прославляются народные герои, способные на великие подвиги.

Со страниц этого сборника вырастает очень яркий образ коммуниста — организатора своего класса и своего народа, и в то же время простого и доброго человека; партийного организатора на фабриках и заводах, журналиста, пропагандиста, борца подполья и блестящего парламентского деятеля. Разными путями пришли они к идеям коммунизма. Но, вступив в партию, они не изменили ей до последнего вздоха своего. Они истинные герои, именно о них сказал Назым Хикмет:

Ведь если я гореть не буду,
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
Так кто же здесь рассеет тьму?

Они погибли за счастье народов, и народы чтут светлую память о своих героях.

Т. ГОНЧАРОВА

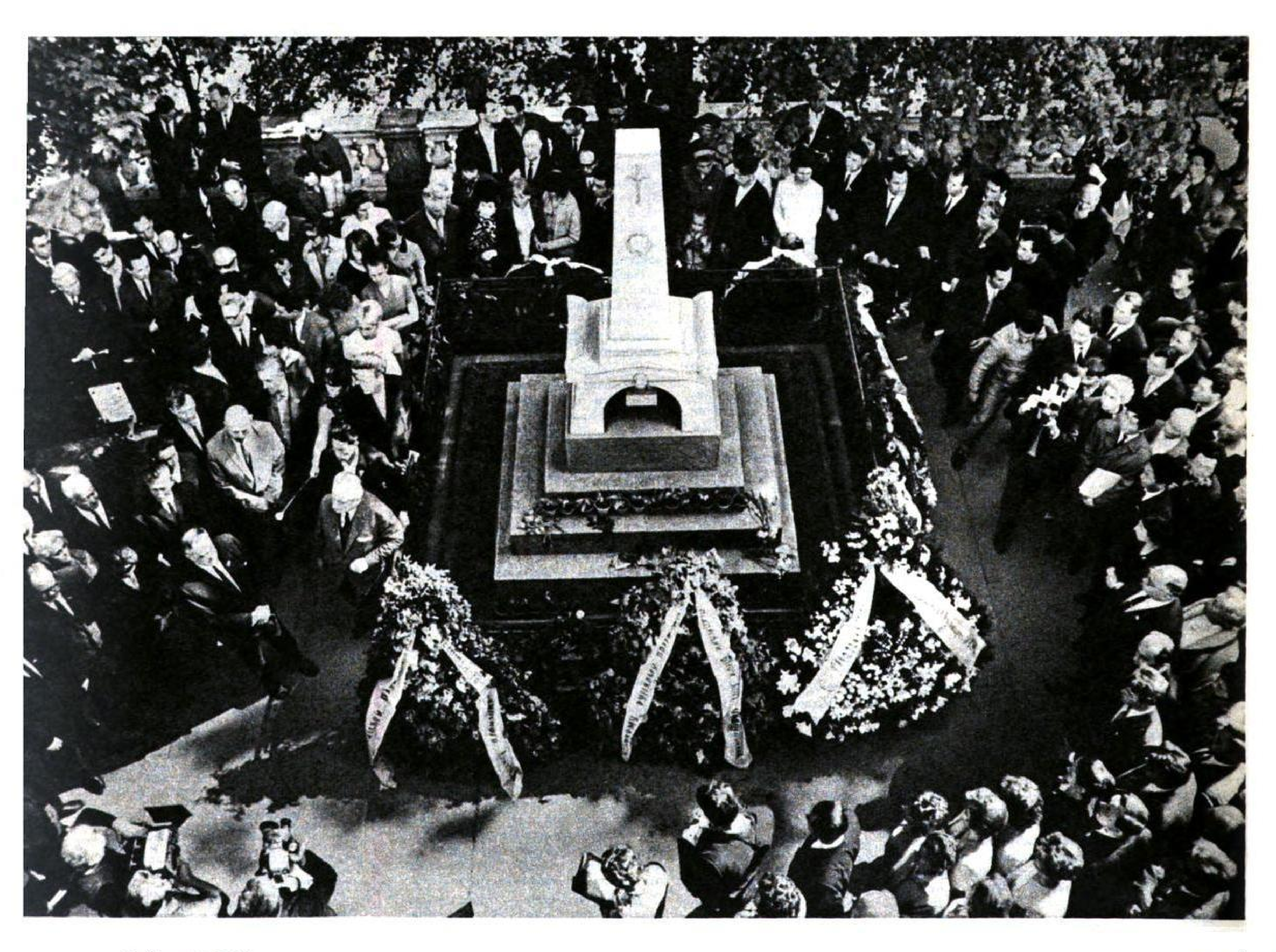
Фоторепортаж А. НАГРАЛЬЯНА

Медвяные травы над Соротью, над Великой, белые стены монастырей среди буйства молодого лета. Еще не наполнились поля шумом машин. Только бьющая с неба трель жаворонка да резкие удары крыльев аиста, исполняющего танец под гнездовьем. Удивительное время — июнь на Псковщине!

...На дорогах вереницы машин, автобусы. Чей путь лежит на Псков, редко не заглянет в места, с детства привычно стоящие рядом с именем поэта. Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь... Нынешний июнь здесь особенно многолюден. Москвичи, ленинградцы, жители Пскова, Таллина, Риги — сто пятьдесят тысяч человек — аудитория, собравшаяся на Второй всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. Разные языки и наречия — монгольский и венгерский, французский и польский. Это звучат голоса наших друзей, голоса тех, кому имя Пушкина — символ дружбы и любви к русскому народу, его культуре, его поэзии.

На помост поднимается Ярослав Смеляков. Он читает строки, рожденные только что, дорогой от Пскова. Берды Кербабаев, Максим Танк, Аскад Мухтар, Давид Кугультинов — звучат голоса братьев России, звучат стихи и в них щедрое солнце Узбекистана, улыбка Молдавии, простор русских полей.

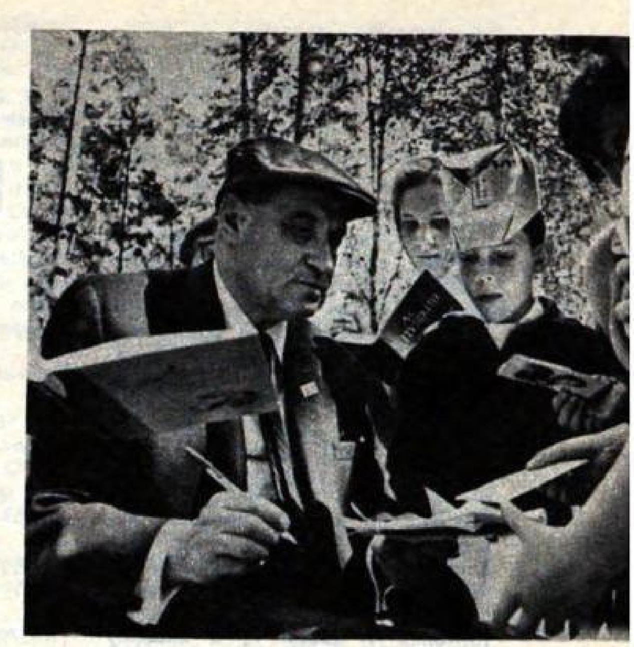
...Высоко над Михайловским, над старинной усадьбой, над Соротью,— аисты. Крыло в крыло кругами идут птицы. Не гаснет июньский день. День, принесший славу России.



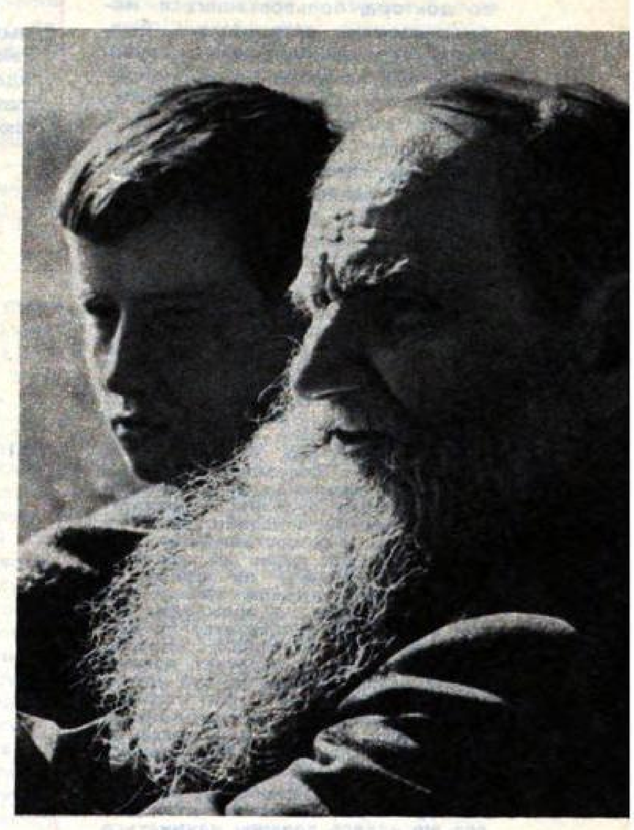
Любимому поэту.

Аисты над Соротью.

Красою вечною сиять



Валентин Катаев среди молодых гостей праздника.



Псковичи Михаил Логинович Логинов и его внук Сережа — частые гости Михайловского.

Звучат стихи.



16 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

А. ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Сегодня народ наш по достоинству славит чутких, опытных, верных друзей своих — советских медиков. Полстолетия зорко оберегают они самые священные, самые дорогие рубежи — рубежи здоровья! Все достижения отечественной и мировой науки, весь талант, разум и опыт свой без остатка отдают они нам с вами, людям!

Низкий поклон вам, дорогие советские медики!

Замечательный русский врач конца прошлого столетия Григорий Антонович Захарьин любил «пощекотать» воображение московских сограждан, преимущественно купеческого звания, «остротой» своего глаза, умением поставить диагноз, что называется, «с порога». Сохранился рассказ о таком случае из его обширной практики. Захарьин приехал по вызову, вежливо поздоровался со всеми, кто его встречал, тщательно вымыл руки и направился в комнату, где лежал больной. Но не вошел, а лишь потоптался у двери и, к вящему удивлению хозяев, повернул обратно к вешалке. Уходя, он безапелляционно бросил: «Замените в комнате обои!» Совет знаменитого доктора, пользовавшегося непререкаемым авторитетом, был, разумеется, немедленно выполнен. И что же? Больной быстро поправился. Объяснялось все довольно просто: по ряду внешних симптомов, сразу схваченных натренированным глазом, Захарьин определил: отравление мышьяком. А по прошлому опыту он знал, что мышьяк выделяют зеленые обои.

В наши дни мы что-то очень редко встречаемся с подобными «чудесами» диагностики. Может быть, в стране не стало талантов или захирело, пришло в упадок врачебное мышление? Конечно, это не так! За минувшие полвека далеко вперед — по старым меркам на целые века — шагнула медицина как наука. По-иному она взглянула на болезни, иные требования предъявила и к личности врача. Любая болезнь зарождается, как теперь доказано, даже не в клетках, а в составляющих их молекулах. До поры до времени это еще не речка, не ручей, а прихотливые струйки между каменьями. Лишь со временем, когда в процесс втягивается та или иная ткань или орган, «поток» будущего недуга обретает известную специфичность. Однако истинно болезнью (или, как говорят врачи, нозологической формой) он становится только тогда, когда на изменение начинает реагировать целостный организм.

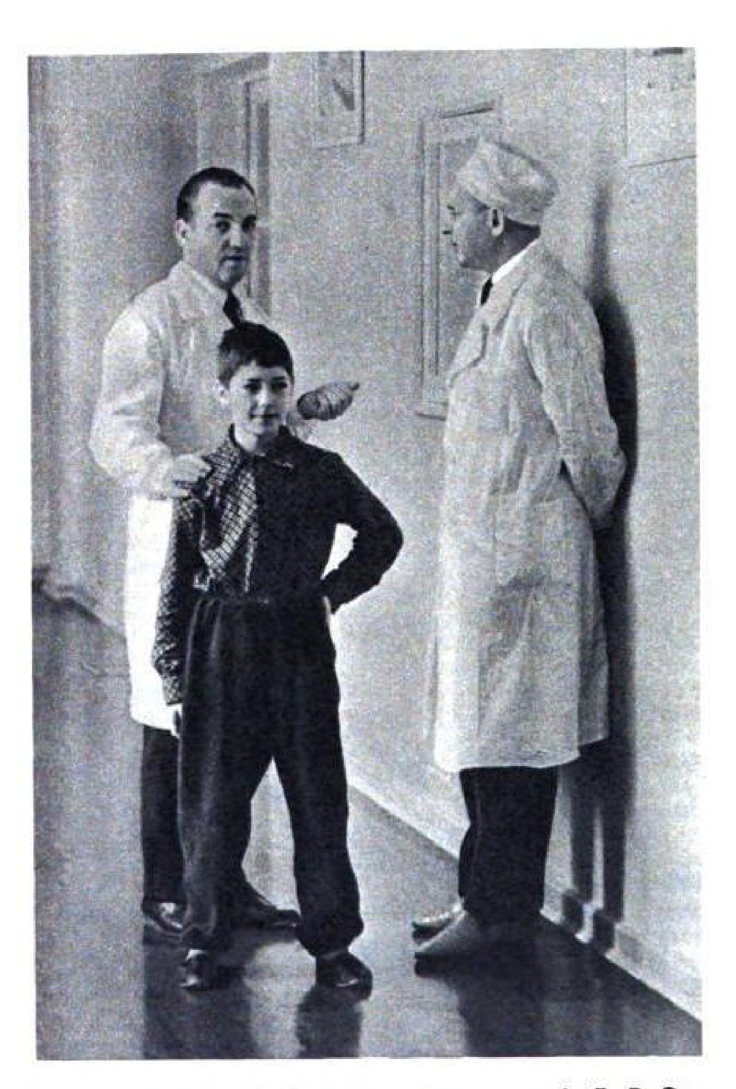
Эти новые воззрения безжалостно спутывают старые понятия. Когда же впредь должны начинаться профилактика и лечение — на стадии безликих струй, журчащего ручейка или полноводной реки? Общий ответ готов заранее: бороться с уходом от нормы надо начинать как можно раньше. Но когда раньше? Это зависит прежде всего от того, какими методами и средствами владеет врач, чтобы выявить и распознать неблагополучие, зародившееся в самых глухих тайниках организма. Заранее известно, что при всем совершенстве своих знаний и опыта врач не может разглядеть с порога зреющую в легких или желудке злокачественную опухоль, распознать «немую» язву, ревматизм или определить, каким пороком поражено сердце. Для решения этих сложных и тонких задач ему уже мало одних только пяти его чувств, профессиональной зоркости, опыта и памяти. Обширные знания, эрудиция, изощренное врачебное мышление теперь необходимы врачу, чтобы критически сопоставить клиническую картину развивающегося недуга с той огромной информацией о больном, которую поставляют «машинные» и лабораторные исследования. А потом безошибочно выбрать из обширного арсенала новейших лечебных методов и средств (большинство из них обладает сильным, но узко направленным действием) то, что способно точно поразить цель. Современному снайперу просто нечего делать с допотопным дробовиком, ему необходимо тщательно выверенное оружие, снабженное оптическим прицелом.

Что мог бы сказать тот же Захарьин, встретившись с таким, к примеру, больным, как Гриша Глебов? В свои 10 лет паренек этот поставил в тупик не одного искушенного диагноста в Таллине, Ленинграде, Москве. В том, что мальчик болен, болен тяжело и опасно, никто не сомневался. Дотронувшись рукой до его груди над сердцем, я почувствовал: больное сердце словно стремилось вырваться из плена тоненьких мальчишечьих ребер. А звук! Представляю себе поликлинического врача, к которому впервые попал такой пациент. Ж-ж-ж — неживой, скрежещуще-шипящий машинный звук раздается и клокочет где-то внутри, словно там трутся друг о друга непригнанные шестерни. Не нужно быть врачом, чтобы понять: такой не жилец на белом свете. А отец и мать мальчика — врачи, они все понимают! Самому же Грише все пока нипочем, он живо подтягивает штанишки, расправляет пижамную курточку, прыг с кровати и в коридор, бочком, скоком на одной ножке. Карие глаза блестят, личико оживленно — ему весело, вон сколько в клинике таких же, как он, ребят, новых товарищей!

Профессор Василий Васильевич Зарецкий — моложавый, в элегантном, безукоризненно пригнанном и до хруста отутюженном халате — тоже, как и все до него, в недоумении. Чего только не насмотришься в руководимом им Отделении клинической физиологии Института клинической и экспериментальной хирургии — сюда ведь поступают самые сложные, самые непостижимые больные. Но и здесь Гриша Глебов — загадка. Нет, в тупик специалистов ставила не сама по себе сердечная мелодия, а необычное место, где она прослушивалась, — третье межреберье. Тут ее, по всем данным науки, не должно было быть. Здесь просто нечему скрежетать. Вот если бы шум исходил из второго межреберья, тогда можно было заподозрить незаращение Боталлова протока — ствола, соединяющего у утробного младенца дугу аорты с легочной артерией. Обычно этот сосуд уже к двадцатому дню после рождения ребенка запустевает, превращается в артериальную связку. В редких случаях Боталлов проток сохраняется и порождает один из видов порока сердца. Кстати, и другие симптомы подтверждают подозрение, что у Гриши не зарос именно этот сосудистый ствол — на рентгенограмме четко видно увеличение правого и левого желудочков сердца, у больного одышка. Сбивает только этот проклятый шум в нехарактерном месте.

Как же все-таки узнать врачам: что творится там, в маленьком мышечном мешочке, скрытом от их глаз в глубине грудной клетки? Что испортилось в этом мальчишечьем сердце?

Вчера такой вопрос безответно повисал в воздухе. Сегодня ответ есть. Наука нашла способ «заглянуть» в живое, бьющееся сердце, не вскрывая его. О героической истории этого открытия я расскажу чуть позже, а сейчас приглашаю читателей в небольшую комнату, отгороженную от мира толстыми свинцовыми стенами. Если б не белые простыни, не светлые хоботы рентгеновской установки, не спокойные лица врачей, могло показаться, что



Слева — проф. Г. М. Соловьев, справа — проф. В. В. Зарецкий. В центре — Женя.

Фото И. Тункеля.

это дзот или стальной банковский сейф.

...Закрылась, чавкнув, свинцовая дверь. Стало тихо и глухо. На столе Гриша Глебов. Глазенки моргают: страшно! Рядом профессор Зарецкий — весь спокойствие и мужская нежность.

— Ну, друг Гриша, покажи себя человеком с большой буквы. Сейчас будет немного больно, я сделаю укол. Вытерпишь?

— Ага.

— Так я и думал, вот поверишь ли, друг мой, так именно и думал...

Василий Васильевич говорит тихо, а сам, прищурившись, как незрячий, нащупывает мякотью пальцев в паху у мальчика место, где проходит вена. Быстрое, уверенное движение, и полая игла уже в ней. Капелька крови на обратном конце подтверждает это. Ассистент подает профессору длинную, очень тоненькую, чуть изогнутую пластмассовую трубочку. Конец ее скрывается в игле. Мелкими, плавными пассами профессор проталкивает трубочку, и она уходит, уходит куда-то в глубь тела вместе с бегущей к сердцу густой венозной кровью.

Василий Васильевич Зарецкий нажимает ногой педаль. Оживает зеленоватым, фосфорическим свечением телевизионный экран. Теперь под рентгеном видно, как медленно движется, ползет по изгибам сосуда темная, густая линия — зонд. Над ним колышутся в такт вдохам и выдохам чуть «размытые» тенью тоненькие ребра, а за ними вырисовывается туманный абрис пульсирующего сердца. Черная змейка все ближе, ближе к сердцу. Вот она уже коснулась его, проползла в правое предсердие. Профессор собран, сосредоточен быстрый взгляд на зубчатую «пилу» электрокардиограммы, на пляшущую линию электрореографа, на цифры артериального давления — все в порядке. Мальчик лежит настороженный и притихший, ему не больно, но неуютно и зябко в этой бьющей в виски тишине.

— Пробу крови! — говорит профессор. Ему подают шприц, он присоединяет его к торчащему из паха концу пластмассового зонда и отсасывает немного крови — прямо из правого предсердия работающего сердца.

Пока за стеной производится экспресс-анализ, Василий Васильевич, поглядывая на экран, осторожно продвигает зонд еще ниже — в правый желудочек сердца. Снова проба крови.

Через минуту-другую лаборанты сообщают: в крови из предсердия 78 процентов кислорода, из желудочка — 81 процент.

Ничего не ясно! При дефекте Боталлова протока такой разницы быть не может. Но что же это? Как и откуда способна попасть в правый желудочек сердца кровь, не успевшая освободиться от кислорода?

Зонд, находящийся в правой половине Гришиного сердца, уже сказал все, что мог сказать. Новые вопросы остаются пока без ответа. А он необходим. И все повторяется сначала. Еще один укол в паху, и через все туловище, теперь уже не по вене, а по артерии, ужом ползет, причудливо извиваясь, второй зонд. Вот он у самых клапанов аорты. Надо определить: в какую сторону течет кровь — правильно или неправильно? Но кровь не отбрасывает тени, ее не видно на рентгеновском экране.

— Дайте контрастное вещество, — просит профессор.

К торчащему над пахом кончику зонда подводится шприц, легкий нажим поршня, и на экране отчетливо видно, как клубится возле аорты светлое, пушистое облачко. Зарецкий весь внимание: куда понесет эту взвесь? Сердце с силой выталкивает кровь в аорту, контрастное вещество не должно, не может плыть против течения. Но что это? Трепещущие белесые язычки, причудливо извиваясь, поплыли обратно в левый желудочек, вот здесь, где расположен средний из трех клапанов аорты. Значит, его створка неплотно прикрывает выход! Значит, часть вытолкнутой крови, завихряясь, мчится против нормального потока. Вот откуда необычный, непонятный шум в третьем межреберье — из-за порочного клапана. Не повезло же нашему милому Грише — его сердце поражено сразу двумя пороками!

— Не могли ли врачи что-то в спешке упустить, что-то проглядеть? — спрашиваю я через несколько дней у Василия Васильевича.

Он молча усаживает меня перед небольшим экраном. Гаснет свет. Тихо стрекочет киноаппарат, и кинопленка делает меня свидетелем всего того, что видел сам профессор. Мальчишка бегает по коридору, а я совершаю путешествие в его сердце! Ленту можно пустить быстрее или медленнее, заставить ее двигаться вперед или назад. Вот главный момент исследования, его кульминация — белесый язычок, трепеща, вползает в просвет клапана. Я отпускаю кнопку, и язычок неподвижно зависает в горловине левого предсердия. Болезнь теперь полностью изобличена! Техника не оставляет ей никаких лазеек. Хирург, которому предстоит оперировать Гришу Глебова, может вот так же, как я, сесть к экрану и сколько угодно гонять взад и вперед пленку.

— Как развернутся события дальше? — спрашиваю я.

— Будет операция. Ясная и спасительная, — убежденно отвечает профессор. — Ее благополучный исход в какой-то мере предрешается точным диагнозом и огромным опытом, зоркостью и хладнокровием хирурга, который будет оперировать, — члена-корреспондента АМН СССР профессора Глеба Михайловича Соловьева. Математически точный диагноз предопределяет, между прочим, и вид операции. Хирург знает теперь не только, что ему предстоит делать, но и как именно идти к сердцу, чтобы за один раз подшить аортальную створку и ликвидировать соустье в желудочках. Уверяю вас, этот симпатичный парнишка будет жить.

— Да, у вас в руках мудрая техника, — замечаю я.

Профессор Зарецкий улыбается, как мне кажется, чуть снисходительно.

— Рядом с мудрой техникой нужен еще более мудрый врач. Диагноз болезни — еще только полдела, гораздо сложнее и ответственнее поставить диагноз больного, его состояния, его готовности воспринять лечение и целесообразности нашего энергичного вмешательства.

...Вместе с Василием Васильевичем мы идем по коридору отделения.

— Вон справа, в дверях, видите? Это и есть Вера.

Ладная, рослая, спортивного вида девушка лет девятнадцати совсем не похожа на больную — хороший цвет лица, красивая осанка, развернутые плечи.

— Послушали бы, что у нее творится в сердце — гудящий, вот-вот готовый взорваться котел. Прямо жутко становится. — И после маленькой паузы: — Выписываем ее сегодня...

Я не могу скрыть своего удивления.

— Недавно прозондировали у нее сердце и определили: отверстие есть, расположено в нижней трети межжелудочковой перегородки. Не знаю, известно ли вам, что перегородка эта сверху состоит из пленки, а в нижней своей части — из мышц. Девушке, таким образом, повезло — мышцы сердца при его сокращениях сжимаются и почти закрывают просвет. Благодаря этому сброс крови из левого желудочка в правый не превышает одного литра в минуту. Да и давление в правом сердце хорошее — порядка 20—25 миллиметров ртутного столба.

— А как определили величину сброса?

— По формуле, есть такая математическая формула. Берем пробы крови и считаем...— С оттенком гордости профессор замечает: — А еще говорят, будто медицина — наука неточная.

— Но все-таки девушка больна, вы же сами говорите. Почему же ее выписывают?

— Да, диагноз не вызывает сомнений — «межжелудочковое соустье». Но это еще только диагноз болезни, а болезнь не существует отдельно от больного. Организм нашей девушки вполне справляется, компенсирует дефект. И мы с полной уверенностью ставим диагноз состояния: «В операции не нуждается».

— А как же гудящий, готовый взорваться котел? — продолжаю допытываться я.

— Это много шума из ничего. Вера проживет с ним до 80 лет.

* * *

Теперь подошло время поведать драматическую историю создания метода зондирования сердца. Вот что рассказал об этом профессор В. В. Зарецкий:

— В конце двадцатых годов ординатора одной из берлинских больниц Вернера Форсмана удивила старинная французская гравюра. Безвестный художник изобразил лошадь, которой через бамбуковые палочки вводят лекарство прямо в вену. Рисунок заинтересовал, заставил задуматься: может быть, и человеку такая манипуляция не повредит? Молодой врач просит разрешения проделать такой опыт на самом себе, но получает категорический отказ. Однако огонь в душе экспериментатора уже пылает. В одно из ночных дежурств он просит операционную сестру вопреки запрету ввести ему в вену зонд.

— Майн гот, как можно нарушить приказ?

— Но ведь это не ради суетной славы, а во имя науки, чистой науки!

— Ради науки? Хорошо. Тогда пусть герр доктор сделает опыт на мне. Я готова...

Форсман решается на хитрость. Сестра тщательно кипятит инструменты и вместе с ними самый тонкий из имевшихся под руками резиновый мочеточниковый зонд. Форсман укладывает свою помощницу на операционный стол, привязывает ее и... сзади, за изголовьем, быстро вскрывает себе вену на руке и осторожно проталкивает в нее зонд. «Ну вот, все готово!» — шепчет он сестре. Та невольно кричит от страха. «Тсс, тише, ради бога, я могу умереть». Свободной рукой Форсман отвязывает сестру, вместе они отправляются в рентгеновский кабинет. Аппарат включен. Сестра с зеркалом в руках стоит перед экспериментатором. В зеркале ясно виден экран. Никаких сомнений: конец мочеточникового зонда в сердце.

— Срочно делайте снимок!

Утром на врачебной конференции ординатор демонстрирует рентгенограмму. Коллеги откровенно смеются над ним: ну и шутник этот Форсман! Через полгода молодой врач выступает с докладом о своем эксперименте на конгрессе немецких хирургов. Из зала несется откровенное шиканье: «За кого он нас принимает, этот сумасшедший человек! Кто способен поверить, будто в святая святых, живое сердце, можно просунуть какую-то грубую резиновую трубку!»

Беда Форсмана состояла в том, что он своим открытием опередил время. Кому и зачем нужно было в 1929 году зондирование? Сердце было еще «запретным плодом» для скальпеля хирургов. Освистанный Форсман покинул Берлин и уехал врачевать куда-то в глухую баварскую деревню.

Идет время. Наука все решительнее снимает с сердца былые запреты, на нем уже сделаны первые отчаянно смелые операции. Но двигаться вперед без точной диагностики нельзя. И спрос рождает предложение. Далеко за океаном врач А. Курнан успешно зондирует живое человеческое сердце, определяет его минутный объем, берет пробы крови. Печать оповещает мир о сенсационном успехе. Удачнику присуждается Нобелевская премия. Но он честен, ученый Курнан, он заявляет, что готов принять награду лишь вместе с истинным родоначальником метода — Вернером Форсманом. Начинаются поиски никому не известного Форсмана. Его находят, привозят в Стокгольм и увенчивают заслуженными лаврами. Сельский врач возвращается на родину Нобелевским лауреатом.

Профессор Зарецкий показывает фотографию с дарственной надписью — умное, открытое лицо, глубокие, добрые глаза.

— Не столь давно мне довелось побывать в гостях у Форсмана. Он уже профессор, руководит кафедрой. Это истинный служитель науки. В те времена, чтобы ввести зонд, надо было вскрыть, а потом наглухо перевязать вену. Форсман «испортил» себе все вены на руках и ногах, у него больше не осталось места для введения зонда.

— Но вы-то теперь не вскрываете сосудов, а пользуетесь полой иглой, — замечаю я.

— То, что вы видели, пока уникальные образцы. Мы их сами изобрели и изготовили.

* * *

Когда материал стоял уже в номере, нам удалось сделать заключительный снимок. Спасительная операция состоялась. Член-корреспондент АМН СССР профессор Глеб Михайлович Соловьев опять блеснул своим отточенным мастерством. Хирург возвратил Грише Глебову здоровье. А мы благодаря этому получили возможность назвать мальчика его подлинным именем: Женя Гиболевич, ученик 3-го класса одной из школ г. Выру, Эстонской ССР.

Поль Гоген

А. ГОНЧАРОВ

Каждый раз, приходя в Эрмитаж, я поднимаюсь в залы французской живописи. В последний раз я надолго остановился у полотен Поля Гогена. Этот художник неожиданно привлек меня. Чем же? Я переходил от одной его работы к другой и понял, что меня поразило. Его полотна — не этюды, не эскизы, а именно картины, во многом отвечающие нашим представлениям об этом жанре искусства.

Импрессионисты передавали действительность без особой философской и психологической основы, а гогеновская живопись — это цветовые метафоры, полные гармонии, прекрасно ритмически и декоративно организованные, со сложным смыслом. Розовая земля на его полотнах не только потому розовая, что она освещена лучами заходящего солнца, но и потому, что это земля радости, изобилия. Фигуры людей в его композициях, которые он пишет с натуры, приобретают философский, символический смысл. Женщина — вечность, женщина — мир, покой. Цветовыми соотношениями он умеет передать страх, спокойствие, ревность, раздумье...

Его искусство давно получило признание. Правда, после смерти художника. Вскоре. Года через четыре. Французская печать, так зло высмеивавшая живописца при жизни по поводу каждой из его немногочисленных выставок, с удовольствием начала публиковать статьи, восхваляющие его искусство, смаковать подробности его жизни. Обыватели, ненавидящие его за неожиданность таланта, ума, поведения, одежды, за то, что он жил не так, как они, теперь, после смерти, начинали гордиться знакомством с ним, вспоминать, как встречались в кафе, на выставках, и, желая приобщиться к вечной жизни искусства Гогена, рассказывали вымыслы, чтобы отвести благородную роль для себя. Жизнь Гогена обрастала неправдоподобными событиями, легендами. О нем писали книги, статьи, воспоминания. И каждый автор норовил его биографию подстроить под свои понятия о жизни. Надо было спасать честь семьи, из которой ушел художник, и его изображали верным мужем, любящим отцом, уютным семьянином. Надо было изобразить романтического героя — пожалуйста, необыкновенная любовь к женщине с далеких островов. Надо подтвердить, что гений — это безумство, и на этот счет набиралось немало фактов: в тридцать пять лет оставил благополучную службу, лишился состояния, писал картины, которые не имели спроса, голодал, но оставался верен искусству.

Жизнь его действительно дала разным людям разные поводы говорить о ней, восторгаться, смеяться, возмущаться, преклонять колена.

Рассказ о Поле Гогене, наверное, надо начинать с его бабки Флоры Тристан, потому что он унаследовал от нее не только внешнее сходство, но и ее характер. Кроме того, ее убеждения, жизнь, полная приключений, о которой немало говорили и писали современники, не могли не заинтересовать Гогена.

Флора Тристан вышла замуж за художника — графика, литографа. (Так что художественные интересы уже проявлялись в роду Гогена.) Все в жизни Флоры было неустойчиво, все менялось порывисто-страстно. Ссоры, семейные раздоры получали громкую огласку. Суд из-за детей, из-за раздела имущества. Она уходит от мужа, работает в кондитерской, служит горничной. Уезжает с семьей, в которой она служила, в Англию. И там меняет несколько профессий. Едет, не смущаясь расстоянием, к родственникам в Перу. Затем, побывав в Америке, Испании, Индии, возвращается во Францию. И вскоре, в 1838 году, в Париже выходят два тома автобиографического романа «Странствования одной парии». Она пишет «Мефис и пролетарий», статьи об эмансипации женщин, об искусстве.

Во всем ее духовном облике можно увидеть много общих черт с Гогеном — темперамент, страсть, увлеченность, безразличие к общественному мнению, решительность в действиях, любовь к путешествиям.

...Жизнь в Перу у родственников Гоген запомнил навсегда, хотя там он провел всего шесть лет в самом раннем детстве, после чего мальчика снова привезли во Францию. Его воспоминания о том времени были связаны с добротой, весельем, семейной лаской и голубым безоблачным небом юга. Может быть, поэтому в тяжелые дни своей жизни художник так мечтал о южных странах, где, ему казалось, он сможет обрести счастье и покой.

В парижском пансионе юношу мало интересовало учение. Он мечтал о путешествиях. И в семнадцать лет против воли матери поступает матросом в торговый флот. Это был первый, по общепринятым понятиям, позор, который принес Гоген своей семье. Мать так и не простила ему непослушания. Она умерла, когда сын был в плавании. И, очевидно, в наказание по ее воле он был лишен всякого наследства. «...Что касается моего дорогого сына,— холодным слогом было написано в завещании,— то он сам должен будет сделать свою карьеру, ибо он так мало умел заставить всех моих друзей полюбить себя, что окажется совсем покинутым».

Гоген вернулся во Францию, когда ему было двадцать три года, побывав в Бразилии, Чили, Перу, а затем и у берегов Дании и Норвегии. Карьера в Париже с помощью опекуна ему удалась. Он получает ведущее место в банке, приобретает приличное состояние, собственный экипаж на зависть сослуживцам и слывет прекрасным финансовым деятелем. Вскоре Гоген женится на молодой датчанке Метт-Софи Гад, приехавшей в Париж на каникулы. Появляются дети. В семье достаток. Что же еще надо? Гоген интересуется искусством, начинает рисовать, писать, приглашает в гости художников. Жена разделяет его интерес, прощает ему увлеченность живописью — милое чудачество, приветливо встречает его новых друзей-художников. Почему же вдруг все рушится — благополучие, достаток, семья?

Одна, но пламенная страсть поглощает Гогена — живопись. Краски, в сочетании которых можно выразить мысль, чувства, чистоту видения мира. Это уже слишком, это уже не могут понять ни жена, ни родственники, ни сослуживцы, ни общество. Гоген покидает службу, семью, Париж и уезжает в Руан. Отныне, по его выражению, он не будет «воскресным художником».

Школой Гогена был импрессионизм, достигший в те времена своего расцвета. Импрессионисты привлекали его не только своими живописными достижениями, но и духом борьбы с салонным искусством. Ему было дорого их внимание к повседневной жизни человека. Ему, любящему небо, воздух, солнце, было дорого то, что они вынесли свои мольберты из мастерских на пленэр, стремясь передать на полотне непосредственные ощущения действительности.

Начав заниматься живописью в духе импрессионизма, он находит свой путь в искусстве. И если импрессионисты, каждый по-своему, стремились анализировать красочный мир, то Поль Гоген старается синтезировать цвет. Ему недостаточно восхищаться виртуозной техникой, он хочет размышлять в искусстве.

В этот период, когда Гоген вслед за семьей, беспокоясь о ней, приехал в Копенгаген, поступил снова на службу, уже не столь выгодную, он все равно продолжает заниматься живописью и пытается, порой еще сбивчиво, найти, определить, сформулировать свою эстетическую программу. Он рассуждает о цвете, форме, о линии: «...Почему ивы с поникшими ветвями называются плакучими? Не потому ли, что линии, опускающиеся, печальны?..» Он пишет о благородных, правдивых и лживых линиях, о том, что с помощью линий и цвета можно передать настроение, душевное состояние человека. «Для меня великий художник — это формула наибольшего разума».

Так в письмах друзьям он изливал свои мысли, чувства. А дома был ад. Жена, ее родственники презирали художника, для них он навсегда низко пал, он компрометирует их респектабельное семейство. От него стараются избавиться. И летом 1885 года, взяв своего шестилетнего сына, Гоген уезжает в Париж.

Но ни сейчас, ни позже в своих странствиях Гоген не обретает ни душевного покоя, ни благополучия. Он возвращается в холодную, нетопленную, пустую комнату. Чтобы прокормить сына, который вскоре по приезде заболевает, великий живописец после поисков находит единственную работу — он расклейщик афиш.

«Я узнал настоящую нищету,— писал Гоген в «Тетради для Алины», своей любимой дочери (ее раннюю смерть предстояло еще пережить художнику),— так сказать, голод, со всеми его последствиями. Но это еще ничто или почти ничто. К этому привыкаешь и с некоторым усилием воли кончаешь тем, что смеешься над этим. Но что страшно — так это помехи в работе, в развитии интеллектуальных способностей. Это верно, что вопреки всему страдание обостряет гений. Однако его не должно быть слишком много, иначе оно вас убивает».

...Южная Америка — вот где, кажется Гогену, он сможет изменить свою жизнь и «жить, как дикарь».

Но мечты живописца о приятной жизни в Америке разбиваются о действительность, и, чтобы заработать на обратную дорогу, Гоген должен «ворочать землю с половины шестого утра до шести вечера под тропическим солнцем и проливным дождем», роя Панамский канал, а затем нанимается матросом на корабль, плывущий в Европу.

Наступают годы дружбы с Ван-Гогом, годы выставок, появление в печати хвалебных и ругательных статей... Гоген очень ждал статью Мирбо, о чем он писал жене. Главный редактор «Figaro» не хотел ее помещать, но после появления статьи в другом издании Метт ответила мужу, что статья показалась ей «до смешного преувеличенной». Так, при всех своих попытках понять друг друга они не смогли.

Октав Мирбо писал: «Я только что узнал, что г-н Поль Гоген уезжает на Таити. Он намерен пожить там один несколько лет, построить себе хижину, начать все сызнова и осуществить те замыслы, которыми он одержим. Когда человек добровольно бежит от цивилизации,

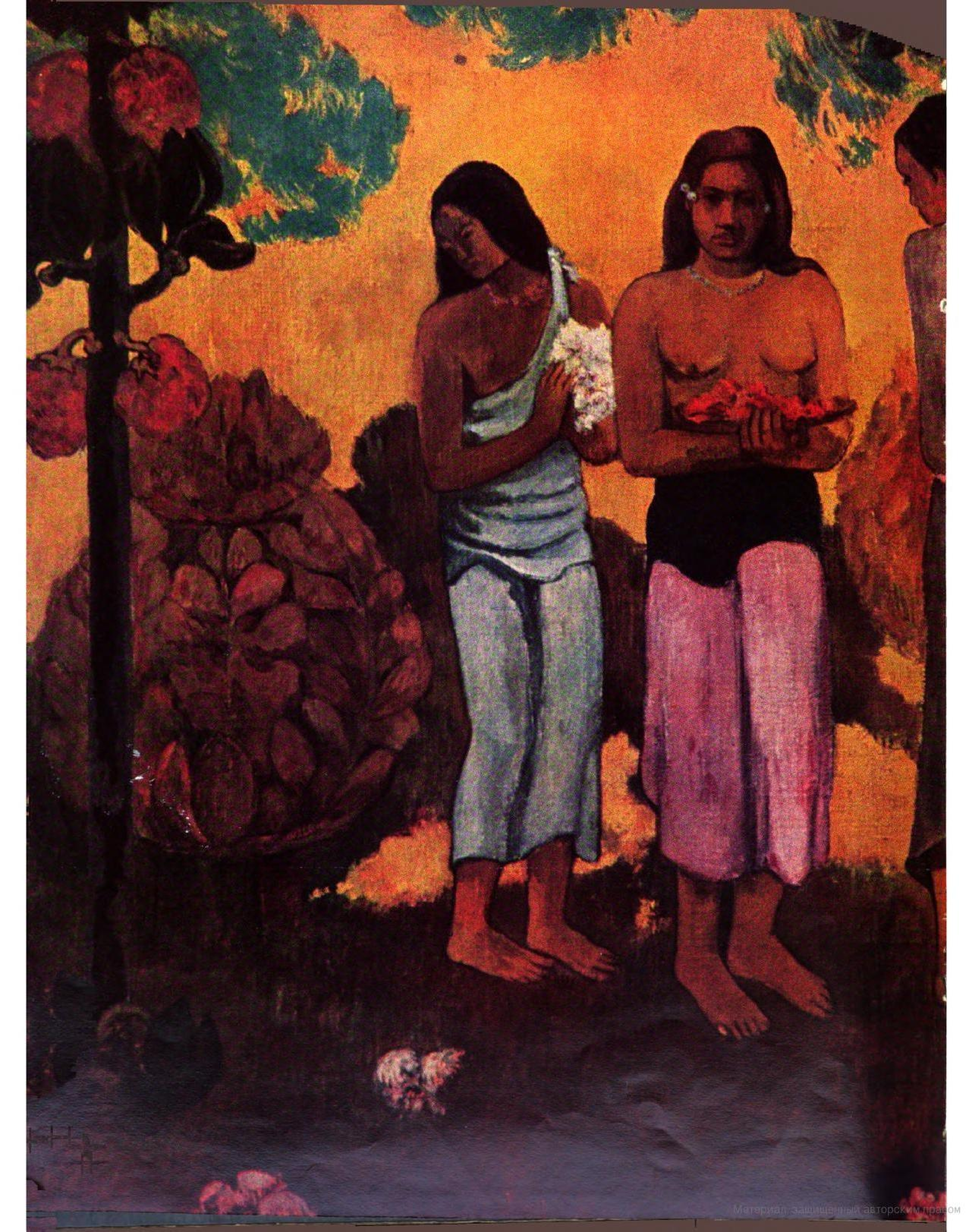


П. Гоген. 1848—1903. ЖЕНА КОРОЛЯ. 1896.

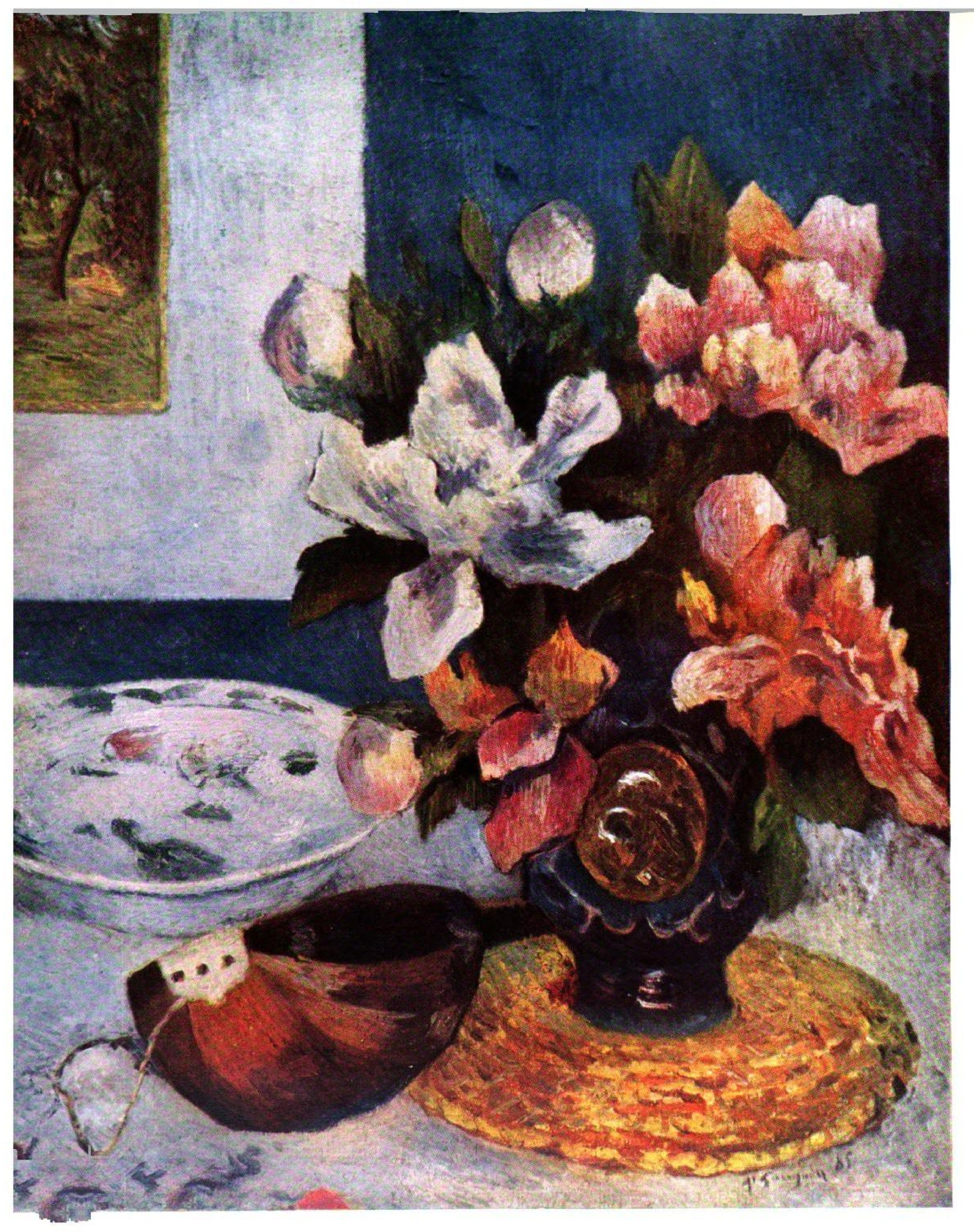
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На развороте вкладки: СБОР ПЛОДОВ. 1899.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.







П. Гоген. НАТЮРМОРТ С МАНДОЛИНОЙ. 1885.

ища забвения и покоя для того, чтобы лучше познать себя и прислушаться к внутренним голосам, заглушенным шумом наших страстей и споров,— это мне кажется любопытным и трогательным. Г-н Поль Гоген очень своеобразный, очень волнующий художник, который неохотно показывался публике, знающей поэтому о нем очень мало. Несколько раз я хотел написать о нем... но не решался,— вероятно, из-за сложности вопроса и боязни неверно изобразить человека, которого я в высшей степени уважаю. В самом деле, есть ли более непосильная задача, чем определить в нескольких коротких и беглых замечаниях значение искусства одновременно столь сложного и примитивного, ясного и непонятного, варварского и утонченного, как искусство г-на Гогена?

...В его творчестве есть тревожная и острая смесь варварского великолепия, католической литургии, индусской мечтательности, готической образности, неясной и тонкой символики; есть жестокая реальность и неистовые поэтические взлеты, посредством которых г-н Гоген создает глубоко личное и совершенно новое искусство — искусство художника и поэта, апостола и демона, искусство, возбуждающее боль...»

Статья Октава Мирбо привлекла внимание к распродаже картин Гогена, и художник, радостный, возбужденный успехом, едет в Копенгаген повидаться с женой и детьми перед отъездом на Таити. Но радость свидания растоптана — надо видеться с Метт тайком в гостинице, чтобы не скомпрометировать ее своим видом.

И снова настроение художника очень подавленное. 23 марта 1891 года в парижском кафе «Вольтер» друзья Гогена устраивают прощальный вечер и провозглашают тост: «Воздадим должное его чуткой совести, которая гонит его в изгнание в самом расцвете таланта, вынуждая его искать новые силы в далекой стране и в самом себе».

...Таити. Он возвращается к таинственным странам, которые у него связаны с детством. Там он ищет полной тишины, простых, безыскусных отношений между людьми, свободы.

Таитянские жители не понимают смысла занятий Гогена. Но они видят, что этот странный человек отдает всего себя своей работе, и крестьяне, для которых труд и беспощадность к себе были понятны, уважали и ценили одержимого пришельца. Он был в их среде своим, и мир, созданный в горячем воображении Гогена, стал было осуществляться в неуемном естестве красок, линий, лиц и характеров.

Техура, юное существо, полюбила Гогена. Она открывала ему мир новых отношений в семье — мир покоя, уважения, дружбы. Она учила его языку, рассказывала легенды, обычаи своей страны.

«...Началась жизнь совершенно счастливая, основанная на уверенности в завтрашнем дне, на обоюдном доверии, на взаимной любви. Я снова принялся за работу, и счастье поселилось в моем доме, оно подымалось вместе с солнцем, лучистым, как и оно. Золотое лицо Техуры заливало радостью и светом внутренность жилья и весь окрестный пейзаж. И мы оба были такими совершенно простыми».

Гоген в каждой картине старается найти новые пластические эквиваленты необычной красоты природы. Его радует творчество. Но и в этом полупридуманном мире его догнала отвергнутая им, но мстительная и беспощадная действительность. Нет денег, а следовательно, холста и красок. Его должники в Париже не торопятся ему помочь. Гоген пишет Серюзье: «...мои полотна пугают меня. Никогда публика не примет их». В марте 1892 года художник в письме к Монфрейду рассказывал: «Я был очень серьезно болен. Представьте себе, я выплевывал по четверти литра крови ежедневно. Остановить ее было невозможно... Врач здешней больницы очень волновался и считал, что со мной все кончено. Он сказал, что легкие у меня здоровые и даже крепкие, но сердце сыграло со мной скверную шутку. Впрочем, оно перенесло так много ударов, что ничего удивительного здесь нет».

...Возвращение во Францию было нерадостным. 3 августа 1893 года Гоген сошел в Марселе с корабля, на котором во время пути от жары умерло несколько пассажиров. В кармане у него было четыре франка на телеграмму друзьям о помощи.

В Париже Гоген собирает все силы для предстоящей борьбы. Устраивает выставку привезенных с Таити картин.

В рецензиях можно было прочитать: «...Чтобы развлечь своих детей, пошлите их на выставку Гогена. Они позабавятся перед раскрашенными картинками, изображающими четверорукие женские существа, распростертые на бильярдном сукне...»

Два года прожил во Франции Гоген, но они не были счастливыми годами. И снова Гоген уезжает на Таити. Меньше стало надежд, немножко меньше мужества, и только великолепная сила художника осталась до последних дней его жизни. Бывали минуты отчаяния, которые прорывались в письмах: «Сегодня я повержен на землю, беспомощный, наполовину уничтоженный борьбой, не получая даже благодарности, которую я заслужил. Я на коленях отбрасываю от себя всякую гордость. Я только неудачник...»

В письмах звучало отчаяние. Но в живописи его — нет. Сказочные краски, мягкий влажноватый воздух, роскошная природа и тропическое солнце. Все это увлекало художника, и он был счастлив в своем творчестве. Он мало кого любил. Может быть, о нем можно сказать, что он никого не любил. Любовь к искусству поглощала все чувства, которые возникали в этом неукротимом сердце.

Умирал он очень тяжело. Французские власти на Таити, преследовавшие его при жизни, глумились над ним и после смерти, расправляясь с его художественным наследием. Невежественные чиновники продавали его картины, скульптуры, деревянные рельефы с молотка за бесценок. Жандарм, который проводил аукцион, сломал на глазах у собравшихся людей резную трость Гогена, но припрятал у себя его картины и, вернувшись в Европу, открыл музей мастера.

Вся жизнь художника была битвой с мещанством, с установившимися взглядами, с предрассудками... Он всегда проигрывал, но никогда благодаря своей одержимости не сдавался, ему нечего было жалеть и нечего терять, ибо то, чем он жил, могло погаснуть только с жизнью.

Величание любви

Мустай КАРИМ

* * *

Багрец кровото́чит листвы отгорелой,
И, раны как будто бинтуя вдоль рек,
На черную землю снег сыплется белый,
На старую землю — молоденький снег.

Всему свой черед.
И хранит наша память
Извечные образы смены времен.
Не поздно, не рано на желтую замять
Слетает забвения белого сон.

Легко мне, и мыслей спокойно теченье,
И ясность сошла на меня с высоты.
От глупых надежд подписав отреченье,
Я больше не верю в пустые мечты.

И точно такая, какой она мнилась,
Весть добрая в срок постаралась прийти,
Прошедшего горя вдруг понял я мнимость,
И словно оно заблудилось в пути.

К плодам, не срывать мне которых отныне,
В слепом искушении рук не тяну.
Удачливый всадник промчится к вершине,
Без зависти тайной вослед я взгляну.

Годами не стар и летами не молод,
Достоин я возраста наверняка:
И в меру мой пламень и в меру мой холод,
Слеза в самый раз и сладка и горька.

Все просто, я в этом могу убедиться:
Вот снизу земля, а вверху небосвод.
На древнюю пашню снег юный ложится,
На черную пашню снег белый идет.

* * *

Семь дней недели — семь свечей,
И при семи медовых лунах
Все семь серебряных ночей
Вновь на семи играют струнах,
Когда я в стороне родной
И ты, любимая, со мной.

Мой день чернее палача,
А ночь — погасшая свеча,
Когда опять ты далека,
И мне чужбина нелегка.

* * *

Молод был я гордый, словно беркут,
И, не опуская вольных крыл,
В пору звезд,
которые не меркнут,
Пред любовью голову клонил.

А любовь, что прозвана земною,
Овевала удалью крыла,
Но в пути, оставив за спиною
Тучи пыли, молодость прошла.

Не склоняюсь я перед пророком,
Но, былому преданный огню,
До сих пор еще в пылу высоком
Пред любовью голову клоню.

У горы к зиме седеет темя,
У ослабших крыльев реже взмах,
Стану старым, и наступит время
Мне в своих покаяться грехах.

Но когда на лик мой лягут тени
Дней последних, отходящих дней,
Пред любовью я склоню колени,
Чтобы смерть завидовала ей.

Перевел с башкирского
Яков КОЗЛОВСКИЙ.

Евг. ПОПОВКИН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Рассказ

ГРАФСКАЯ КУХАРКА

Софья Ермолаевна оказалась редчайшей хозяйкой. Она с полуслова понимала мои мысли, горячо поддерживала наши комсомольские затеи. Ни разу не обмолвилась и о том, что нужны деньги для моего питания, да и своих племянника и племянницу поддерживала.

Я нередко задумывался над тем, на какие средства она существовала. Не с огорода же, возле хаты, в котором было две-три грядки огурцов и лука, крохотная делянка под бураки и картошку?!

Немножко просветил меня на сей счет Михайло Неборака.

— Она же дуже справная стряпуха. Еще самой графине стряпала. Ну, и зараз, где какая свадьба, престольный праздник, молотьба, без бабы Соньки не ладится. Оттудова сала шмат, оттудова кильце ковбасы да еще грошенятами...

Однажды, вернувшись неожиданно из соседнего хутора, я застал Софью Ермолаевну возле печки за швейной машинкой.

Она необычайно смутилась, краска залила ее лицо.

— Цэ я ради удовольствия. Шоб не забыть.

Это были дни, когда, как мне легко было понять, у Софьи Ермолаевны было туго с продуктами, готовила она преимущественно картофель в мундирах, с растительным маслом пшенную кашу, а то и просто резала луковицу, поливала маслом и присаливала. Все это меня ничуть не угнетало: бывали дни, когда я питался намного хуже, а то и люто голодал.

Софья Ермолаевна ни на что не жаловалась, но на нее было жалко глядеть, как она переживала наше безденежье. Она даже както постарела и осунулась. Я не вытерпел, сказал ей как-то:

— Софья Ермолаевна, голубушка! Что вы так страдаете из-за наших харчей? Мы же не голодаем.

— Если б я стряпать не умела,— подрагивая бровями, откликнулась она.— Такими блюдами господ кормила...

Это был любимый конек бывшей графской кухарки, и я решил его подстегнуть:

— Что старая графиня любила?

— Рагу из бекасов любила, фрикасе из ягненка или судака... А больше всего — фрикасе из голубей. И всегда говорит повару: «Пускай мне фрикасе Сонечка приготовит». Ну, а повар ей жардиньер или говяжье филе с корнюшонами готовил... Фазанов, тетерева еще или куропатки серые...

Мы начали ремонтировать флигель. Организовали драмкружок и стали разучивать «Шельменко-денщика». Я задерживался допоздна. Софья Ермолаевна никогда не укладывалась спать, не дождавшись меня.

Как-то она сама чистосердечно призналась:

— Когда знаешь, что есть для кого, приемно и раньше встать, затопить печь, прибрать хату, куховарить...

Больше всего она любила, когда я приходил пораньше и, пристроившись возле сундука, у висячей керосиновой лампы, писал или читал. Она взбиралась на горячую печку, ложилась на спину, закрывала глаза и о чем-то молча думала. Если же я раскрашивал стенгазету или что-нибудь клеил для будущего клуба, она, облокотившись на руку, словоохотливо выкладывала сельские новости. Они были незначительными. А знала она все: кому парубки ворота дегтем вымазали, кто сегодня самогон гонит, у какой вдовы застали чужого мужа, кто поссорился, кто перепил, забил бычка на продажу, где собираются девчата на досвитки...

Чернела за оконцами осенняя темнота, лениво погавкивал соседский пес Балась, который добровольно опекал и нашу хатенку. Было тепло, уютно.

— Вы всегда жили одна? — спросил я однажды.— Своих детей у вас не было?

Софья Ермолаевна засмеялась как-то странно, настороженно:

— Вам, верно, наплели уже про меня?.. Лучше сама скажу... Три дочки у меня было — Вера, Надежда, Любовь. И я — их мать. Софья...

Она взглянула в угол, на божницу, и я только сейчас обратил внимание на то, что среди образов выделялась икона в позолоченной ризе — святой великомученицы Софьи — и перед ней висела лампада рубинового стекла. —Господь всех прибрал к себе. Две и до года не дожили. Все они, дети, у меня на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить... Младшенькую господь прибрал к себе, когда ей было уже двенадцать лет.

— Муж умер?

— Двое померли, один жив...

— Как это? — вырвалось у меня.

— А у меня их три было. Молода, глупа была. Дочки на мою фамилию записаны. Их батьки были женатыми... А мое дело было девичье.

Допытываться, как и что, я не счел тактичным, но Софья Ермолаевна очень просто и доверительно продолжила разговор сама:

— Не подумайте, что я с кем попало ночевала. Только с интеллигенцией... У старшенькой батька был графским конюхом... Вторая дочка — от псаломщика... Ну, а меньшенькая, Надия, вы ее батька́ видели.

— Кто это?

— Кирилл Иванович. Дуже я хотела своих детей, а графиня меня замуж не отпускала...

— Вообще как вам у господ жилось?

Софья Ермолаевна протяжно и глубоко вздохнула:

— Я еще девчонкой стала служить в господском доме. Дали мне чуланчик, рядом с кухней. Нас у батька с матерью семь душ было. Отдали меня на кухню, я свой живот надрывала, кастрюли и чугуны с плиты таскала. Есть такая песня: «Добре тоби, тату, задаточки брати! Прийди, тату, подивися, як их зароблятн...» И дали: «Ты думаэш, тату, що я тут паную? Прийди, тату, подивися, як я тут горюю...»

Софья Ермолаевна вдруг умолкла, и, покосившись на печь, я увидел, что она вытирает рукавом кофточки слезы.

— Кто себе палаты нажил из дворовых, а я одну швейную машинку «Зингер», да два старых платья своих графиня подарила.

— Кто же из дворовых мог палаты нажить?

— Ого! Экономку взять. И сама блудничала и молодому графу девчат подкладывала... Ну, ладно! Это — дело прошлое...

— А вы расскажите, интересно.

— Сын графини, Ирмы Карловны, красивый, а до женского полу любитель, не приведи господи! Графиня никуда уже не выезжала, а когда день ее рождения бывал, набивалось знати той — и генералы и господа Лопухины, Бродские. Лакеи с галунами появлялись. Ну, сынок графини на день ангела беспременно приезжал. Бывало, на все лето или на рождество Христово. Тут уж графиня для него ничего не жалела. И охоты делала большие, и если дивчина из села какая, что через окно ночью до графа сигала, с малым дитем оставалась, одаривала, замуж выдавала... Сколько, рассказывали, он так имений прогулял и пропил! У них же не только в Богодаровке...

— Богато жили ваши господа?

— Не спрашивайте!.. Нагляделась я... И каретный сарай был и отдельно людская, поварская. Кроме повара, три стряпухи было. В доме кругом колонны, ковры, картины, люстры... И посуда хрустальная и пальмы в кадушках... Одних... этих... фортепиано было три.. Одно и за́раз в школе стоит.

— Куда ж все это богатство девалось?

— Спалили же замок. Разграбили. Неделю горел. Больше поломали, побили... Я после нанялась в городе в няньки. Может, слыхали: Сукальский? Вальцовая мельница у него была, шесть этажей. Сгорела.

— Видел.

— Тут моя сестра заболела и померла. Приехала я за племянниками глядеть. И осталась..

Окончание. Начало в № 24.



Все свободное время я находился во флигеле. От сельсовета никакой помощи мы так и не получили, но дядько Олекса приволок из дома фуганок, пилу, стамески, несколько хорошо высушенных досок («взаймы»), в двух комнатках уже застеклили. Михайло Неборака почистил печки и затопил.

Нужно было поехать в район, выжать в райисполкоме лес, обои, материал для штор и занавесей. Но на сквозняке я простудился и слег. К вечеру был весь в огне, бредил, всю ночь меня одолевали кошмарные сны.

Мне виделись Самойленко и Дзюба, которые сапогами топчут стекло для окон и, глядя на меня, хохочут. Софья Ермолаевна, очень беспокойная, не отходившая от моей постели, позже рассказывала, что я кричал что-то и никак не мог очнуться.

Болел я дня четыре. Неугомонная Софья Ермолаевна несколько раз наведывалась в сельраду, к Дзюбе, требовала привезти врача, дать угля для топки.

— Аспид безногий! — ругалась она, придя домой.— Доктора я так и не допросилась, а угля, сатана лысая, дал — на пять дней хватит, не больше.

Видимо, развлекая меня, Софья Ермолаевна извлекла со дна скрыни подарки графини — два бурнуса с черным стеклярусом.

— Чему же не носите? — спросил я.

— На свя́то надену. Как та мартышка. Я достала, может, для спектакля.

Она разрумянилась, и я, глядя на нее, подумал, что она была в молодости красивой.

Вечером пришел навестить меня Михайло Неборака.

— Лежи спокойно, выздоравливай,— сказал он.— Окна все уже дядько Олекса застеклил и вставил. Достали с хлопцами дровец, протапливаем, тепло! Кирилл Иванович наведывался, помог нам две репетиции провести... Теперь осталось полы подремонтировать, стенки оклеить, скамейки достать. Ламп хотя бы штуки две-три...

Я облизывал спекшиеся губы, отвечал чуть слышно.

Мне хотелось высмеять Самойленко, сказать ему все в лицо, но он не появлялся. И я изобразил его в комсомольской стенгазете.

Уже собираясь прощаться, Михайло нерешительно взглянул на хозяйку, на меня.

— Не все новости я рассказал... В Солонцеватом вчера ночью секретаря партячейки зарезали. В Пшеничном почту ограбили, почтаря застрелили. Все в одну ночь. И люди рассказывают, может, и брешут, что приезжали эти убивцы на бричках, кони у них добрые, а сами одеты в шинели, картузы на них одинаковые...

— Да, может, люди и сбрехали,— деланно, беспечным тоном говорила Софья Ермолаевна, заслонив от меня Михайла и делая ему какие-то знаки.

Лишь окончательно поправившись, я узнал, что сказали мне тогда не все. Под большим селом Доброводы, верстах в пятнадцати от нас, в ту же ночь нашли в кустарнике зверски растерзанного секретаря комсомольской ячейки. И, как рассказывал мне Иося Баренбойм, ходивший в Доброводы навестить свою родную тетку, на спине у комсомольца бандиты выжгли пятиконечную звезду.

Дзюба нарядил для меня по дежурному списку в район пароконную повозку, и я по утреннему морозцу быстро добрался до городка, миновал собор, пустынные в это раннее время сквер и рынок и, никуда не заезжая, слез у райкома комсомола.

На счастье, секретарь райкома, мой закадычный друг Митя Руднев, уже был на работе. После взаимных объятий, похлопываний по плечу Митя сел рядом со мной на диван, озабоченно сказал:

— Хорошо, что догадался приехать... Очень нужен нашему батьке, хотели даже за тобой райисполкомовскую бричку посылать.

Батькой мы, комсомольцы, звали Василия Харитоновича Баглая, елизаветградского кузнеца, командовавшего нашим чоновским[1] отрядом, а теперь замещавшим по службе председателя райисполкома. Огромный ростом, страшной физической силы и редкой храбрости, он был кумиром комсомольцев. Все в нем подкупало: добрейший характер, внешняя грубоватость, твердость, даже жесткость в те минуты, когда он, бывший прославленный партизан гражданской войны, приобщал нас, безусых, необстрелянных парнишек, к первым схваткам с кулацкими бандами, вислые, как у Тараса Бульбы, седые усы его,— все нам в нем нравилось.

— Сейчас мы с тобой сходим к нему, а пока получи кое-что.

Он исчез в соседней комнатке. И спустя немного вернулся с Катей. Она, раскрасневшаяся и явно смущенная, поздоровалась, не глядя мне в глаза, протянула ведомость.

— Распишись. И пересчитай!

— Что это?

— Выколотил вам понемногу деньжат,— довольно сообщил Митя.

[1] ЧОН — часть особого назначения.

— Откуда?

— Не твое дело. Расписывайся. Двести рублей... С Катей потом любезничайте... Видишь, полыхает дивчина.

Митя увлек меня за собой на второй этаж, где размещался райисполком, без стука зашел к батьке.

— Ага, приехал? — Василий Харитонович стиснул мне руку, подошел к двери и замер.

— Самойленко, вашего голову сельрады, давно видел? — спросил он, усаживаясь на место.

— Давненько. Недели две.

— Он может еще появиться в Богодаровке. И ты обязан немедленно дать нам знать. Больше надеяться не на кого. Дошло до тебя?

— Дошло.

— О разговоре нашем молчок.

— Дошло?

— Дошло.

Повернувшись к Мите, он сказал, видимо, продолжая какой-то разговор:

— Серьезное сопротивление кулачья кончилось... У большинства селян желание заняться своей земелькой, а вот такие еще колобродят. Ему можно сказать? — Он кивнул в мою сторону.— Умеет молчать?

— Парень надежный,— сказал Митя, подмигнув мне.

— Банда перехватила комплект обмундирования и вооружения. Теперь под видом чекистов безобразничает... Самойленко исчез, это подозрительно.

Я рассказал о своем последнем разговоре с ним, о том, как он издевательски отнесся к моей просьбе о помощи комсомольцам.

— Надо помочь, Василий Харитонович,— сказал Митя.

— В чем нужда?

Я извлек копию списка, оставленного Дзюбе. Батько надел очки, шевеля губами, стал читать.

— Лесу дадим... Обоев на складе сколько хочешь, зайди и отбери. Стульев полсотни пришлем на той неделе. Больше не могу. Пятьдесят метров мануфактуры? Можно. Ламп десять? Надо посмотреть. Пяток найдем. Все?

От счастья я не знал, что и говорить батьке. Он долго и неумело писал что-то на уголке моего списка, а Митя, понизив голос, сказал:

— Пойди скажи Кате, пусть поможет тебе все это оформить.

Батько наконец управился с трудной для него «канцелярией», как он иронически говорил, и, протягивая листок, напомнил:

— Клуб клубом, дело нужное, ну, а насчет Самойленко гляди в оба.

Катя меня ждала в райкоме и с удовольствием согласилась помочь.

— Мы к тебе на открытие клуба всей ячейкой приедем.

— Приезжай!

— Одна я не приеду. Что скажет твоя хозяйка?

Возвращался я в Богодаровку с чувством, какое, по-видимому, знакомо только миллионерам. В повозке лежали два тюка мануфактуры, тщательно упакованные керосиновые лампы «молния», большой сверток обоев.

Дома я передал Софье Ермолаевне купленную для нее кофточку и отдал деньги.

— Да на что нам столько! А за кофточку спасибо!

Софья Ермолаевна предупредила меня, что вернется поздно.

Но вернулась, когда я еще не спал. Плотно заперла двери, задернула занавески на окнах.

— Помогала попадье и ее работнице куховарить. Завтра у них большая гулянка. Ждут Самойленко. Провертела мясо через мясорубку в закуточке, обо мне и забыли.

Мне надо было немедленно добираться до района. Больше некому. Ходики показывали седьмой час вечера. Чем добираться?

— Пойду пешком. За три часа дойду.

— Куда?! Туман, распутица. У вас чоботы текут. А ну, подождите...

Она быстро ушла, вернулась не скоро. Потом вскочила в хату, довольная и энергичная.

— Выпросила у Кирюхи, племянника, коня. Верхом поедете. Только он просит, чтобы ночью и назад.

Кирюха болел. Он вошел с закутанным горлом, опухшими, красными веками, в треухе, надвинутом глубоко на уши.

Было ему под тридцать, но усы и борода не росли.

— Вы когда-нибудь ездили верхи? — спросил он охрипшим голосом.

— А как же! — обиделся я, не распространяясь о том, что ездил еще в детстве, в ночное, и то немного.

— И седла нету,— ныл и юлил бедный Кирюха.

Я понимал, как ему не хочется, страшно отдавать своего единственного коня в чужие руки.

— Седло сделаем,— сказала Софья Ермолаевна.— Подушку подкладем, веревочные стремена, седло будет, как у того черкеса-объездчика.

Кирюха чиркнул серником, зажег лампу «летучая мышь», скрепя сердце повел нас к своему сараю. Софья Ермолаевна поддержала фонарь. Кирюха накинул на рослого, костлявого мерина узду, вывел его из хлева.

Мерин, старый, лохмоногий, косматый, шел за хозяином, помахивая жидким хвостом.

— Стой, черт!

«Хорошо, что я на таком росинанте хоть ночью приеду в райцентр. Никто не увидит,— подумал я, глядя, как Софья Ермолаевна с племянником мастерят мне седло.— Проходу не дали бы...»

— Не забудьте его напоить,— жалобно давал последние напутствия Кирюха.

— Это обязательно!

— И холку ему не сбейте.

— Все будет в порядке,— успокоил я, попросту не зная, что означает «набить холку», чем ее набивают...

Меня в данную минуту больше всего заботило, чтобы выехать из села незаметно, чтобы меня никто не узнал. Да и Кирюхину лошадь тоже.

В оконцах хат уже светились огоньки, припустил дождь. Как же мне сейчас не хотелось ехать! Недоброе предчувствие угнетало меня, когда я смотрел на мерина, сонно развесившего косматые уши.

Очень было неуютно мне ехать, а мой мерин даже не пытался скрыть от меня, что и ему не хочется никуда из села выбираться. Густой ветер бил в лицо мягкой водяной пылью.

Дорогу я помнил. На выезде миновал два ветряка, и тотчас же навстречу попался обоз воловьих запряжек. Звучное чмоканье бычьих копыт по грязи, молчаливые возницы в кобеняках...

Справа от меня в сумрачной полосе тумана темнели смутные силуэты холмов и кустарников. Дождь, который начал сеять еще в селе, вдруг сменился мокрыми хлопьями рыхлого снега. Он бил в глаза, ослеплял. Я уже не знаю, еду ли по дороге или жнивьем. Какие-то птицы, ночевавшие в жнивьях, неожиданно взмывали с пашни. Мерин мой шарахался в сторону, настороженно поднимал уши.

Темнота ветреной, сырой ночи обступала меня со всех сторон, но я знал, что справа невдалеке начинались густые леса, а чуть дальше, возле степного кургана, нужно взять левее, на большой шлях. Отсюда недалеко был глубокий, заросший кустарником яр, где мы прошлым летом в отряде батьки столкнулись с бандой, долго перестреливались, но бандиты от нас ушли хорошо известными им лазейками.

Сейчас на той стороне стояла предостерегающая тишина. Доносился только тревожный шум тополей и верб.

Очень зримым было воспоминание о том, как мы, безусые юнцы, страшно хотели отличиться в глазах батьки, показать ему свою безудержную храбрость, за что, кстати, получали от него суровый нагоняй.

Неожиданно мерин стал, скользя, спускаться куда-то в низину. На дне пологой балки я различил петляющую речушку, туда и направлялся заупрямившийся мерин на водопой, чавкая по грязи, шевеля ушами; он хотел пить, тянулся мордой к журчащей воде, а я не знал, можно ли его сейчас поить.

В эту минуту сквозь облака проглянула луна, стало светлее, и вдруг я увидел сбоку, в камышах, двух всадников в темном. На лбу и на спине у меня проступила испарина: «Засада!»

Изо всех сил я стегнул мерина, ударил его каблуками сапог, но он лишь вертелся на месте. Я полез в кобуру за своим пистолетом, решив, что хоть единственный выстрел я успею сделать, если на меня нападут бандиты. Правда, мелькнула мысль о том, что, если я и открою пальбу, помощи здесь ждать не от кого. Всадники стояли на месте, не двигаясь, но у меня было обидное ощущение бессилия из-за того, что мерин окончательно заупрямился и стал поворачивать назад.

Луна совсем очистилась от рваных облаков, стало еще светлее, и я вдруг, еще не веря себе, увидел, что вместо всадников лежат две сгнившие коряги.

Я смахнул рукавом шинели пот со лба, издеваясь над собой, яростно нахлестывая ни в чем не повинного мерина, который вдруг припустился какой-то странной, ковыляющей рысью, и вскоре выбрался к линии телеграфных столбов, на большак. До чего же милым и успокаивающим показался мне однотонный гул телеграфных проводов! Мерин теперь рысил увереннее.

Вскоре я увидел отражение зарева в низких тучах: в той стороне был сахарный завод, на котором я бывал с друзьями-комсомольцами.

Путь мой лежал через железнодорожную линию, он был закрыт шлагбаумом, мимо меня с шумом прогрохотал ярко освещенный пассажирский поезд. Он шел на Одессу, и по времени я понял, что сейчас восемь часов с минутами.

В город я въехал со стороны вокзала. Все же я очень привык и очень любил свой провинциальный глухой городок, где вырос, закончил школу, вступил в комсомол. Все здесь было близко, знакомо: редкие фонари на улице, обсаженной по обе стороны великанами-тополями, разбухшие от влаги, почерневшие деревянные скамейки в городском сквере, где мы любили собираться; громада тонущего в тумане собора, торговые ряды, где устраивались шумные, яркие, многолюдные ярмарки. Сейчас всюду было пустынно, магазины закрыты.

Только одно здание с большими окнами было ярко освещено. Это был педтехникум, в котором я успел проучиться всего год. Я догадался, что там сейчас идут репетиции студенческого драмкружка, спевка хора. Светилось два окошка и в здании райкома.

Миновав приземистое темное здание солдатской казармы, городской плац, я поехал на квартиру к батьке. С наслаждением сполз со своего мучителя, памятуя строгие наказы Кирюхи, поводил его за поводок возле дома, затем ввел во двор, привязал к столбу и постучал с черного хода.

Батько сидел в столовой с бывшим пулеметчиком нашего чоновского отряда Артемом Шумиловым: они ели лапшу с молоком.

Ничуть не удивляясь моему появлению, батько кивнул Шумилову, и тот достал из буфета миску, налил лапшу из кастрюли и мне.

Ели все молча, и лишь когда Шумилов начал возиться с чайником и стаканами, батько, положив крупные руки на стол, спросил:

— Что доброго скажешь?

Я рассказал о предполагаемом завтра посещении Самойленко поповского дома в Богодаровке.

— Ты на чем добрался?

— Верхом,— сказал я, стараясь придать своему голосу как можно больше скромности.

— Кто знает, что ты сюда уехал?

— Никто.

— Конь чей?

Я и на это ответил.

— Покормил?

— У меня нечем.

— Артем, попьешь чаю, я тебя прошу, отведи его рысака на нашу конюшню. Пусть овса дадут, напоят...— Он снова обратился ко мне: — Ты сегодня обратно? Здесь ни к кому не заезжал?

— Нет.

— Молодец! Порядок знаешь. Как твой клуб? Все у нас получил?

— Большое спасибо, Василий Харитонович. Дело наладилось.

— Ладно! Отдыхай. Я еще пойду в райис-

полком. А ты приляг вон на мою кушетку. В Богодаровке ничего никому. Понял? Если появится Самойленко, его, голубчика, тихонько возьмут.

Уехал я из города уже в двенадцатом ночи. Тучи исчезли, снегом все выбелило, вызвездило, подмораживало. Мерин шел бодрее, увереннее, но добрался я домой поздно.

Софья Ермолаевна не спала, а лежала на лежанке, не раздеваясь.

— Ну, як зъездил? — с живой заинтересованностью справилась она.

— Дуже добре,— сказал я, умолчав, что ноги мои жутко гудели, на ягодицах я ощущал ссадины, ныли позвонки.

Софья Ермолаевна принялась хлопотать у печи, а я вышел сдать мерина Кирюхе. Тот тоже не спал. Безбородое, безусое лицо его еще больше пожелтело.

Он ревниво провел ладонью по потной шее, по крупу мерина, сумрачно сказал:

— Набили все-таки ему холку. Вон шишка какая!..

— Эх, Кирилл, Кирилл! — только и мог я пробормотать, валясь с ног от усталости и пережитого...

Проснулся я поздно, а хате никого не было. Я сам достал себе из печи завтрак. Когда появилась Софья Ермолаевна, я тихо спросил:

— О Самойленко ничего?

— Должен сегодня подъехать. Я с рынку туда смоталась, вдвоем с работницей кое-что еще стряпали. Ждут они гостей...

За ночь морозец подсушил грязь. Я, как и всегда, перекусив, поспешил во флигель. Здесь были и Миша и Никита, несколько девчат.

— Вот в хор пришли записываться,— сказал Неборака, поймав одну из девчат и довольно бесцеремонно потискав ее, что, к слову сказать, ее нисколько не смутило.

— На рождество нельзя ставить спектакль,— заметил Никита.— Сорвут всю кампанию. Понапиваются.

— А когда?

— Лучше на святой вечер.

Решили открывать клуб в ночь перед рождеством. Из города в этот день привезли стулья, лампы висячие.

Окна были уже вставлены, печи вычищены, и Михайло затопил их. Шел дым, было угарно, стоял терпкий запах стружек и столярного клея.

Во время обеда я узнал, что Самойленко не было, но, может, подъедет к ночи.

— Никого из города чужого не видели? — спросил я.

— У дядька Крамаренко Хведора были, может, и зараз гуляют... Два милицейских...

Вечером была объявлена спевка хора, девчат пришло много, сердце мое радовалось.

В селе пекли, жарили, коптили, варили, пахло паленой свиной щетиной. Бабы бегали, озабоченные, по двору с ведрами, тазами, корытами. Год был урожайный, хлеба собрали много, и я подумал, сколько наварят сивухи. Нафаршировали домашних колбас — и кровяных и с гречневой кашей, наварили холодцу, накоптили окороков.

Не ошибся!

Ночью меня вызвали в сельраду: тут же сидели в полушубках милицейские.

— Есть бумажка из рика,— сказал Дзюба.— Тут перед престольным будут много горилки гнать. Одна милиция не справится... Райвоенком пишет, чтоб комсомол помог.

— Это мы сделаем. Надо дежурного послать за хлопцами.

Дзюба суетился, стучал по полу деревяшкой. Стали подходить мои ребята, отряхиваясь от снега.

К ночи сильно подморозило, повалил густой снег, разыгралась вьюга.

— Это даже лучше,— сказал Неборака.

Мы пошли вдвоем с Михаилом, третий — милиционер. Белая крутящаяся мгла была нам на руку. Всматривались в дымари. Надо было в кромешном аду разглядеть слабый дымок.

— В селе еще ни разу не трусили самогонку,— сказал Михайло.— Так что люди не пуганы.

Около большого дома, обсаженного голыми сейчас тополями, Михайло остановился, тихо сказал:

— Тут!

— Видишь?

— Нет.

— Над дымарем. Дымок.

Собака забилась от пурги под крыльцом, лаяла оттуда зло, неохотно.

Постучали. Открыла хозяйка и с мгновение не могла двинуться с места.

В очень холодном, неотапливаемом зале — бочки, мешки с зерном, сулеи с подсолнечным маслом. И куб работал вовсю, две четвертных бутыли зелья были уже полны.

Хозяин, в исподней рубахе, валенках, покашливая в кулак, отмалчивался. Лютовала хозяйка. Сперва она стояла у печи, а когда милиционер присел у стола составлять акт, она стала бросаться на шею к Михаилу:

— Михайло, ты ж свой!.. Не обижай... Хлопцы, возьмите себе по четверти, да и разойдемся тишком.

Пришлось хозяину надеть тулуп, взвалить куб на плечи, мы взяли самогонку и, не обращая внимания на вопли жены, пошли в сельраду — сдавать Дзюбе улики.

В эту ночь накрыли еще трех самогонщиков, и домой я попал далеко за полночь. Горели от мороза уши, нахолодавшие в юфтовых сапогах ноги я попросту не ощущал.

Сразу полез на горячую печь. Думал о том, что операцию с Самойленко спугнули некстати появившиеся в селе милицейские.

Софью Ермолаевну очень интересовало, у кого взяли водку.

— Челобитько, первый богач.

— Были.

— Я вам еще назову те дворы, которые кулацкие: Смаглюк, Скробот, где вы квартировали... Да и Дзюба Яшка не бедничок... А у Явдохи Коныхи не были?

— Что это: фамилия?

— Прозвище. Муж ее коня когда-то украл, его самосудом убили, а она «Коныха» и «Коныха». Первая самогонщица. На продажу гонит.

— Доберутся.

— Считайте, у каждого из них родня, сватья, кумовья... Это ж завтра будет зла...

— Пускай!

Когда я проснулся, Софья Ермолаевна, загадочно улыбаясь, достала из-под кровати довольно крепкие, но уже ношенные валенки:

— А ну, мерьте.

— Откуда они?

— Неважно, мерьте.

Они оказались чуть великоваты.

— Соломки или сенца трошки подложим, и будет добре... А цо вам рукавицы. Ярина связала, племянница.

Я стал настаивать, чтобы она назвала мне цену, но она сказала:

— Вы мне подарунок сделали, а я — вам...

Окна затянуло льдом, хата остыла за ночь. Софья Ермолаевна внесла огромную охапку нахолодавшей соломы, затопила. Гулко загудело в печи. По лицу Софьи Ермолаевны бродили мелко-красные отблески, полосы красного света.

— Нет, Коныху треба подловыть,— сказала Софья Ермолаевна, отклоняя от жара лицо.— Это ж продажная душа. Спекулюха.

— А Емельян Челобитько и другие гонят ведрами только для себя?

— Забыла вам сказать. С Челобитько ничего не возьмете. В сельраде окно разбито, шкаф поломали, где его водка стояла, все бутылки забраны.

— Откуда вы знаете?

— Бегала в село. Это Дзюба дядьке Емельяну помог. Они ж свояки...

И вот пришел сочельник, день нашей любительской премьеры. Утром, как только я протер глаза, Софья Ермолаевна торжественно вручила мне коробку папирос «Сальве» и кусок душистого туалетного мыла «Москвичка».

— Капиталов больших у меня нету, но у вас такой сегодня день!

Ярко светило солнце, трещал мороз.

...Святой вечер! Сегодня мальчишки пойдут по хатам с бумажными рождественскими звездами колядовать. В детстве этим любил заниматься и я. А вот сегодня вечером я держал экзамен.

— Людей полно будет,— успокоила Софья Ермолаевна.— Меня квиточки в клубе многие спрашивали.

На оживленных улицах, подметенных и расчищенных, ходили группами по два-три человека в ладной одежде, празднично настроенные; стайками прогуливались девчата в пушистых зимних платках, ослепительно сверкающих галошах.

Зашел в гости Кирюха. Он тоже оделся в праздничное: новый пиджак поверх расшитой красными и черными крестиками рубахи из грубого домотканого беленого полотна, в начищенных ваксой чоботах. Щелкал тыквенные семечки.

Незадолго до начала спектакля я пошел в клуб, народ уже стал собираться, вездесущая детвора усеяла крылечко, заняла места у окон.

В сочельник, или, как говорят украинцы, на голодну кутью, у Максима Скробота ждали в его добротном вместительном доме гостей, а точнее — гостя.

По закону, в святой вечер людям верующим, постящимся было положено обойтись кутьей из ячменной крупы и взваром из сушеных фруктов. Но должен был приехать сам голова сельрады Самойленко, и Скробот сказал своей тучной, заплывшей жиром жене Гафии:

— Святой Николай-угодник нас, грешных, простит, кутью и взвар на стол ты поставь, ну, Самойленко не из тех, кто, чи ему святой, чи не святой вечер, голодовать согласится... Так что подашь и печенье, и соленое, и копченое. Не жалей и горилочку.

Дочка хозяев перестарок Мария и молодая наймычка Явдоха помогли собрать на стол в чистой половине. Меньшая дочка Настя, стройная, худощавая, студентка педтехникума, приехавшая на зимние каникулы, зажгла перед образами лампаду, принялась перебирать граммофонные пластинки.

Еще с утра Настя сказала своей строптивой и властной матери:

— Мы вам, мамо, поможем, соберем все, что надо, а вечером пойдем с Маруськой на спектакль. Там вся молодежь села будет.

— Вы что, девчата, сказились? — всплеснула руками, измазанными на локтях тестом, мать.— Святой вечер, а вы в тот комсомол... чи як там... побежите?

— На святой вечер колбас и холодца тоже не едят,— не растерялась Настя.

Явдоха, подоткнув подол юбки, мыла полы. Настя мелом начищала серебро икон.

— Ну, нехай батько решает.

— Вся молодежь там будет, а нам что, весь вечер с дедом Емельяном сидеть?!

Еще только стало смеркаться, когда хозяин, накинув на плечи тулуп, ушел на двор, чтобы сразу открыть ворота голове сельрады.

С Самойленко связывала его не дружба и не короткая служба у гайдамаков. Скробот никогда и ни с кем дружбы не водил. Но были промежду них дела, в которых ни жинки своей, ни самому господу богу Максим Скробот не открылся бы. И когда надежный человек из соседнего села передал, что Самойленко в канун рождества приедет прямо к Скроботу, и строжайше предупредил, чтобы ни одна живая душа об этом не доведалась, догадался Максим, что не ради стакана самогонки занесет к нему давнего однополчанина.

Быстро темнело. Пришел с жинкой кум Емельян Челобитько, затем приковылял хромоногий вдовый церковный староста Смаглюк, приглашенные «для компании», а Самойленко все не было.

— Вы заходьте до хаты, грейтесь,— приглашал хозяин.

Те охотно приняли приглашение. Скробот хотел спустить с цепи здоровенного кобеля, чтобы отпугивал от двора колядников, но в эту минуту раздался резкий скрип полозьев.

Санки стремительно влетели в распахнутые хозяином ворота. Он выглянул, нет ли кого в переулке, и тогда уже запер ворота и калитку на тяжелые железные засовы, спустил с цепи осипшего от лая пса.

Из саней тяжело выбрался закутанный в тулуп Самойленко, за ним выпрыгнул еще какой-то рослый мужчина.

— Ну, старая дохлятина, скрипишь еще?—

Самойленко фамильярно облапил хозяина. Качнувшись, ухватился за облучок.— Это лесник. Свой и нужный человек. Коней давай в конюшню, санки поставь за хату... Что стоишь, как паралитик?! Чужих никого?.. Повертайся.

Не понравилась пьяная развязность Самойленко Скроботу, но он сдержанно сказал, разбирая вожжи:

— Все будет сделано. А вас прошу до хаты... Все свои.

Гафия вышла встретить на крылечко, с веником в руках бросилась обметать снег с валенок приехавших.

— Здравствуйте, гости дорогие! Проходьте! Проходьте в сенцы, снимайте тулупчики... мы их стряхнем... Бекешки тоже вешайте тут от... Явдоха, где ты там?! Голубонько, иди, помоги гостям.

Гафия колыхалась в своем ставшем уже узким цветастом платье, как слабо застывший студень. Большое и широкое чернобровое лицо ее, серые глаза с желтыми белками источали сплошное гостеприимство.

Самойленко не торопился и, кивнув своему спутнику, чтобы тот шел в зал, задержался в сенях. Через минуту оттуда донесся до слуха гостей возмущенный голос Явдохи:

— Та, дядьку! Бросьте свои глупости... Чуетэ... Дядько!..

«Ну, кобелина, прости господи!» — подумала хозяйка, знавшая Самойленко, и позвала:

— Явдоха! Неси бутылки с погреба...

Самойленко, запыхавшийся, кирпично-кумачовый, переступил порог, обвел мутно-маслянистыми глазами обильный стол.

— Эге-ге! — сощурил он хмельные глаза.— От это голодная кутья!

— И кутья есть,— подобострастно бормотала Гафия.— Садитесь, гостечки! Не побрезгайте, Кинстятин Олексиевич... Откушайте.

Лицо ее с оплывшими, полными щеками лоснилось, толстые губы улыбались, обнажая большие бескровные десны с поблескивавшими золотыми зубами.

Ее дочери, удравшие сперва из-за застенчивости из зала, вернулись с потупленными глазами, и Самойленко сразу переключил свое внимание на них. Когда здорово подвыпили и закусили, его даже потянуло на танцы. Завели граммофон. Однако Настя, которую он вытащил танцевать вальс, не сделала и двух кругов, пунцовая, вырвалась из его рук и убежала.

Спустя несколько времени сестры появились на пороге, одетые в праздничные шубы и теплые шерстяные платки.

— До свиданьечко...

— Ку-уда?

— В клуб идем. На «Шельменко-денщик».

— Это консомол, дьяволово семя, прости меня господи,— сказал Челобитько.— Шастают по дворам, у меня куб забрали, две четвертных бутыли. То чертыня однорогое, что у бабы Соньки квартирует...

Хозяин терпеливо ждал, когда Самойленко заведет с ним разговор, ради которого приехал, но тот пил стакан за стаканом, уже еле ворочая языком.

Емельян Челобитько снова свернул разговор на комсомол:

— Взяли моду работников переписывать, по судам таскать. Одни голодранцы в этом консомоле... Ну, однорогое это чертыня...

— А вы, диду, не знаете, что с такими делают? — спросил Самойленко.— Одного проучили.

— А эта, сука, Сонька, которая на квартиру себе его взяла,— вмешался в разговор церковный староста,— только и слушает, кто где что сказал, и зараз докладает... Стерва...

— И Соньку.— Самойленко пьяно провел ребром ладони по кадыку, снова налил себе до краев стакан, но не выпил, поднялся.— Пойдем, Максим, потолкуем,— бросил хозяину.

Скробот повел его в чуланчик.

Скробот, как и многие другие, знал, каким образом Самойленко поставили головой сельрады. Сделал это бывший председатель исполкома Жученко, которого потом взяла ЧК как скрытого петлюровца. Жученко выправил документы своему дружку, что тот был в конной армии Буденного, воевал с белополяками.

Самойленко вершил дела в банде, которая, свершив террористические акты, рассыпалась по домам Богодаровки, Хлебодаровки, Солонцеватой.

Самойленко завел разговор о том, что операция с оружием и комплектами обмундирования вызвала ярость, что сейчас, когда есть оружие, надо пробиваться на Киевщину и дальше, за границу.

— Как ты, Максим?

— Никуда не поеду. Надоело, да жизнь вроде стала налаживаться.

— А я тоже не совсем покидаю нéньку Украину.— Самойленко пьяно всхлипнул.— Вернемся... Ну, тогда сведем счеты.

— Пойдем выпьем,— потащил Максим.

— К черту! Я вже набрався.

Самойленко заметил в приоткрытую дверь Явдоху, вывалился в сени и схватил ее за руку.

— Да пустить, дядьку... Шо ви за моду соби взяли?

Квелого от перепития Самойленко здоровая Явдоха метнула от себя так, что он едва не упал. Дивчина скрылась. Самойленко постоял и, бессмысленно глядя на пол, стал одеваться. Максиму сказал:

— Отомкни ворота... Схожу до попоены, попрощаюсь...

Он растворился в белесой мгле. Не застав попову дома и узнав от работницы, что она пошла в клуб, на спектакль, Самойленко, уже совсем пьяный, пошел туда сам... Уже на полпути его догнал лесник-верзила...

Миша Неборака с неизменным портфелем (я его назначил главным распорядителем и контролером) огорошил меня:

— Кто будет играть Шельменка?

— А что с Кириллом Ивановичем?

— Подняли в саду, ни бе ни ме, отвели домой спать.

— Павлущенко. Он роль знает.

За несколько минут до открытия занавеса меня разыскала Софья Ермолаевна.

— Цэ ж, мени доведется пидпирать двери? Михайло не дае места.

— Скажите ему, чтоб достал, где хочет, стул и поставил впереди всех рядов... И всегда, когда в клубе будет спектакль или лекция, это будет ваше постоянное место. Почетное!

Спустя немного я снова выглянул в зал. Михайло вынес из-за сцены огромное кресло, которое я видел у него дома, и усаживал Софью Ермолаевну. Она стала кумачовой от радости.

В небольшой зальце уже было битком, а с улицы, жадно пробиваясь, расталкивая друг друга, теснились в дверь все новые зрители. Трещали стулья.



В. П. Чкалов и И. М. Москвин.

Чкалов и актеры

Бор. ФИЛИППОВ

Мы дали занавес. Публика, пошумев, угомонилась. До своего выхода я наблюдал за зрителями и вдруг увидел у входа разряженную Леокадию Ивановну. Места ей не нашлось, ее зажали со всех сторон, толкали, но она терпеливо переносила все.

И вдруг я увидел, что Миша Неборака освобождает в средине зала место для Самойленко. Он был явно осовевшим от выпитого, багрово-красным, в лихо сдвинутой на затылок каракулевой папахе. Он пришел со своим дружком-верзилой, тоже подвыпившим.

Все это сбивало меня; нечего сказать, внимательный был на сцене кавалер у моей возлюбленной по пьесе!

Я совсем растерялся, увидев у входа батьку. Тот стоял, спокойно скрестив могучие руки на груди, внимательно глядел на сцену. Как дать ему знать, что в зале Самойленко?

А тот, оглядевшись по сторонам, тяжело ворочая шеей, наклонился к своему товарищу и что-то шепнул. Верзила спустя минуту оглянулся. Потом, пригибаясь, стал протискиваться к выходу. Батько, пропуская его, посторонился.

На сцене начали плясать, и Самойленко, воспользовавшись шумом, пошел вслед за верзилой. Батько сразу вышел следом. И тотчас же в саду за стенами флигеля началась частая стрельба.

Я выскочил через другие двери; револьверные выстрелы, крики удалялись. И парк и село тонули в сплошном снегопаде, снег слепил глаза. Было еле слышно за шумом несущейся над землей вьюги, как на церковной колокольне медленно звонил колокол.

Из клуба валил народ.

Батька ранило в плечо. Пуля задела мякоть, но кровь шла густо, и я, увидев, что с ним Дзюба, потащил их обоих к Софье Ермолаевне.

— Ушел, гад! — сердился батько.— Ну, далеко не уйдет. Я ведь в Солонцеватое ездил. На обратном пути, думаю, заеду к комсомольцам, посмотрю... Если бы не вьюга!

Софья Ермолаевна отыскала в сундуке марлю, промыла и перевязала батьке рану, затем проворно накрыла на стол.

— Что за колокольный звон был? — спросил батько Дзюбу.

— Так святой вечер сегодня,— ответил он, боязливо отводя вбок глаза.

Софья Ермолаевна недоверчиво покачала головой:

— Церква давно закрыта. Уже ж пивночь!

Она взобралась на лавку и оправила потрескивающую, скорбно мигающую синим глазом лампаду у иконы — незаметно перекрестила себе грудь.

Батько есть отказался и приказал Дзюбе:

— Скажите кучеру, пусть подает сюда санки.

— Ох, Василий Харитонович, не советую вам сегодня ехать,— сказала Софья Ермолаевна.— Этот Самойленко из села никуда не сбежал, мало ли что может случиться?

— Что?

— Да и Дзюба знает, что вы едете... Не верю я этому падлу...

— Надо ехать,— твердо сказал батько.

— Переночуйте... Вон кровать у нас свободная. Гляньте, как метет.

Очень настойчиво упрашивала Софья Ермолаевна. Батько заупрямился, стал одеваться.

Софья Ермолаевна сказала:

— Тогда... Я вас выведу дорогой, яку́ никто не знае. Там не ездят. Через Лопахино озеро. Зараз добренько подмерзло. И короче...

Подумав, батько согласился.

Софья Ермолаевна стала торопливо одеваться, повязалась большим теплым платком.

За стеной заскрипели полозья, вошел Дзюба.

— Санки тут, коло двора, Василь Харитонович.

— Идите, отдыхайте,— кивнул ему батько. Здоровой рукой он потрепал меня по плечу:

— Извини, дружище, что сорвал тебе спектакль. В другой раз досмотрим... А вообще молодцы ребята!

Я набросил на себя полушубок, вышел проводить. Софья Ермолаевна умащивалась рядом с кучером.

Лошади рванули. На небе светился бледный диск луны, около строений залегли резкие тени. От сарая напротив отделилась фигура, направилась ко мне. Михайло Неборака!

— Ты что тут мерзнешь?

— Зайти постеснялся, а покараулить надо было.

— Ну, заходи в тепло.

Мы долго обсуждали с ним происшедшее, попили горячего чаю.

— А где баба Сонька?

Я сказал. Ходики показывали уже начало третьего, а хозяйки все не было. Михайло засобирался домой. Не запирая двери и не раздеваясь, только сбросив валенки, я лег на лежанку. Засыпая, слышал, как лает Балась.

Разбудил меня часов около шести Кирюха. Окна промерзли, мороз их здорово разрисовал узорными листьями.

— Нету тетки Сони? — спросил от порога с нескрываемой тревогой Кирюха. Из-за его спины выглядывала Ярина.

— Может, она с батьком до города решила прокатиться,— сказал я.

Кирюха молча постоял, вышел и внес охапку соломы, свалил ее у печи и, дуя на красные кисти рук, принялся растапливать. Солома была мокрая, не разгоралась, дымила.

Я натянул валенки, плеснул себе на лицо водой. Ярина принялась разогревать для меня вчерашнюю еду.

Есть мне не хотелось, какое-то тревожное предчувствие томило меня. Я поминутно выглядывал в окно.

Кирюха заметно побледнел.

— Выпьем по чарке? — спросил я его.— Сегодня же рождество!

— А чего ж? Давайте.

Потом мы вышли на подворье. Сухой, мерзлый снег скрипел под валенками, дымилась поземка. Разноцветные дымы таяли в солнечных лучах над кровлями хат, в стеклянно-зеленом небе.

В конце улицы я увидел Михайла с Павлущенко. Они торопливо шли, почти бежали к нам. Не здороваясь, Михайло сказал:

— Нашли бабку Соньку. В Таловой балке, сразу около Лопахинову озера. Там на ней кровищи... Наполовину снегом занесло... Вся оледенела, аж в глазах лед...

Летний филиал Московского клуба мастеров искусств находился на Страстном бульваре, в садике журнально-газетного объединения. Весь цвет столичного искусства бывал в клубе; никого не нужно было специально «зазывать» на творческие встречи и вечера. Здесь можно было увидеть А. Луначарского, Н. Семашко, Ем. Ярославского, В. Маяковского, В. Мейерхольда, Л. Собинова, А. Таирова, В. Качалова, И. Москвина, М. Климова...

Руководили клубом Феликс Кон — старый профессиональный революционер, начальник Главискусства, а также И. М. Москвин и В. В. Барсова.

Желанными гостями «убежища муз» всегда были ударники московских заводов и фабрик, ученые, военачальники, видные общественные деятели. Особая дружба установилась у артистов с полярниками и летчиками. Но едва ли не первым по своей популярности в плеяде «звезд» тридцатых годов был великий летчик — Валерий Павлович Чкалов. Слава о его виртуозном мастерстве привлекала к нему необычайный интерес и со стороны творческой интеллигенции. Какие только легенды не рассказывали о нем — самобытном сыне волжской земли! И, как правило, легенды оказывались былью.

Однажды И. М. Москвин дружески пригласил знаменитого летчика:

— Приходите к нам! Я познакомлю Вас с Алексеем Толстым! С Климовым! Угостим вас котлетами «по-климовски». Ждем обязательно с женой — Ольгой Эразмовной! Правда, клуб наш для «полуночников»: собираемся после спектаклей, не раньше 11 вечера...

Чкалов стал частым посетителем клуба. Постепенно у Валерия Павловича сколотилась компания друзей. В их числе, кроме Москвина и Климова, были скульптор Исаак Менделевич, его брат конферансье А. А. Менделевич; известный артист эстрады, книголюб Н. П. Смирнов-Сокольский... Нередко сиживали в этой компании Алексей Толстой, Демьян Бедный. Общество было веселое, жизнерадостное, любившее «перекинуться» анекдотом, поострить и в то же время серьезно поговорить о жизни. И актеры и писатели радовались, что молодой, всемирно прославленный летчик хорошо знаком с литературой и театром, изобразительным искусством; здраво и серьезно судит о явлениях художественной жизни нашей страны.

Я не раз наблюдал Валерия Павловича на клубных концертах и актерских творческих вечерах. С каким сосредоточенным вниманием слушал он чтение В. И. Качалова, как неудержимо хохотал, когда В. Я. Хенкин выступал на клубной эстраде с рассказами Зощенко, как живо реагировал, слушая родные волжские напевы в исполнении Лидии Руслановой... Он был истинным почитателем талантов Льва Оборина и Генриха Нейгауза, нередко выступавших у нас в клубе... Характерной чертой Валерия Павловича было его уважительное отношение к труду артистов; не шутя он говорил, что актер, играя в спектакле, испытывает, вероятно, не меньшее нервное напряжение, чем летчик в сложном полете!

— Мне легче, чем вам,— как-то сказал Чкалов Москвину.— Когда я летаю, то, к счастью, не вижу перед собой публику! Публика — это, наверное, потруднее «мертвой петли»!..

Для молодых актеров Чкалов был фигурой романтической, необыкновенной. Все знали, с каким упорством и трудом пробивал этот коренастый могучий человек «пути в небо».

Помню, пригласили мы Валерия Павловича на первомайский вечер. Конечно, все хотели видеть его в президиуме. Но он забился куда-то в конец зрительного зала. Наша публика устроила ему овацию, тогда Чкалов совсем рассердился и сказал: «Не мне надо аплодировать, а народу нашему. Он дал нам крылья!» После этой чкаловской реплики аплодисменты, разумеется, еще более усилились...

Но по-настоящему рассерженным видел я Чкалова при иных обстоятельствах. Как-то он приехал в клуб вместе с Москвиным и по пути остановился в холле, который актеры обычно называли «предбанником». Внимание Чкалова привлекла выставка молодого художника.

Осматривая выставку, Чкалов буквально разъярился:

— Черт знает, что такое! И где только выкопал художник таких бледных, немощных, худосочных ребят! Что это, туберкулезный санаторий? Или он не видел здоровых, хороших советских детей? Не бывал в школах, детских садах? Да просто походил бы по дворам, посмотрел на улицах!.. Какая-то детская больница!..

И. М. Москвин, чувствуя свою ответственность за выставку, смущенно ответил:

— Это ты прав, Валерий Павлович! Туберкулезная выставка! Не художник, а «детоубийца». И впрямь надо снять...

Незабываемой была встреча В. П. Чкалова с актерами, художниками и музыкантами столицы после его знаменитого перелета по маршруту Москва — Северный полюс — Соединенные Штаты Америки. Зрительный зал был переполнен до отказа. Со свойственной ему скромностью Чкалов рассказывал о героическом перелете. Говорил главным образом о своих друзьях — Байдукове и Белякове, просто и скромно излагал детали необычного перелета, будто все само собой в нем подразумевалось: и циклоны, которые пришлось преодолевать, и обледенение самолета, и недостаток кислорода, бывает, мол и такое на большой высоте!..

Вот так он и повествовал с трибуны. И все слушали его затаив дыхание. Артист Московского Художественного театра В. В. Белокуров, наблюдавший Валерия Павловича в клубе, впоследствии живо и сильно воплотил образ Чкалова в кино...



Николай Михайлович Зиновьев.

ЖИВЕТ В ДЕРЕВНЕ ЧЕЛОВЕК

Николай РОДИЧЕВ

С высоты птичьего полета земля эта, наверное, кажется скатертью-самобранкой. Поля холмистые, округлые, похожи на хлебные караваи. Обрамлены они узорами подступающих редких лесов. Вскинувшиеся близ дороги березовые рощи просматриваются насквозь. За белыми стволами видится лесок пониже и погуще, с темно-зелеными пиками вершин. Это елошник, а за елошником вдруг вынырнет дом-теремок с кичкой по гребню крыши, притянет за собой к шоссе целый рядок таких же нарядных строений.

Сразу после города Шуи, промышленного, каменно-красного и запыленного с весны, начинаются селения, которые в затейливом убранстве будто соперничают с окружающей природой: резные наличники над окнами в два, а то и три яруса, точеные опоры крыльца, побеленная жесть колпачков на дымоходе. За Афанасьевскими холмами большое селение староверов-полушубошников Пустошь, дальше идут Дорки, после них — Красное. Чем дальше в глубь Иванова края, тем острее чувство, что едешь по земле предков. Отовсюду глядит на тебя горделивая, осанистая, мастеровая Русь.

С холмов видны купола Крестовоздвиженского храма. Впереди Палех.

Об этом старинном гнезде национальной живописи написаны тома. Кратковременный визит в малую столицу народного искусства, где сейчас живет свыше семидесяти членов Союза художников, ничего не даст. О каждом из тамошних живописцев можно писать целую книгу. Давайте на этот раз не доедем до Палеха.

У небольшого мостика через речушку крутой сворот с наезженного шоссе к деревеньке с колодезным журавлем на единственной и очень куцей улице. Это Дягилево, или просто Дягили. Так называли встарь травянистое устье трех речек, сбегающихся сюда пошептаться с камышами: Лелюх, Палешка, Демидовка. Для такого селения и одной речки вполне хватило бы. Сажали же по одному дереву под окнами. А все равно зелено на улице. Остановимся у дома с березой.

Откуда-то из глубины двора к калитке вышел высокий прямой старик — бритолицый, с жестким пучком серых от седины волос на верхней губе. Суровые складки рассекают его зарумянившееся от ходьбы и трудной работы лицо. Большие крестьянские руки в земле — он только что бережным движением прислонил к крыльцу лопату.

Николай Михайлович Зиновьев. Народный художник.

На одном из довоенных портретов, обошедшем многие наши и зарубежные газеты после того, как Николай Михайлович получил на парижской выставке первую премию, художник был изображен крестьянином с волевыми, крупными чертами лица, в расшитой косоворотке. Сейчас в его внешности мало что изменилось, разве поглубже врезались в загорелую шею складки да вместо косоворотки теплая фланелевая сорочка в большую клетку — такие в моде у столичных студентов. Видно, не очень-то доверяя переменчивому утреннему ветру, Николай Михайлович надел поверх сорочки ватную безрукавку: погода солнечная, но, оставив свой след в редких на висках волосах, над головой прошумело восемьдесят зим...

Ранняя весна щедро опушила деревья. Подзолоченные лучами сережки свисают с ветвей березы, прибавляя очарования и без того нарядному дому Зиновьевых. Трудно сказать, сколько этому дому лет. Прадед художника, иконописец и гренадер Кузьма Христофорович, возвратившись из похода против Наполеона, расчищал под фамильную селитьбу это место от болотной травы. Только Николай Михайлович за свой век трижды менял подопревшие венцы, уложенные руками предков.

Вдоль подоконника длинный, незастланный деревянный стол. Уставлен он крохотными чашечками для красок. На блюдце гусиное перо, кисти, волчий зуб, которым живописец шлифует позолоту миниатюр. На стенах несколько картин: «Распятие», чудом уцелевшее со времен учебы юного Зиновьева в иконописной школе, этюд маслом с изображением клочковатой копенки сена в полукружье увядающего осинника. «Не своими ли руками сложил копенку перед тем, как написать ее?..» Акварели сына Виктора, старшего лейтенанта, погибшего в войну; несколько фотографий: милые скуластенькие мордашки внуков и правнуков художника.

Над потрепанной книгой «Вселенная и человечество» — современный изящный светильник. Книга раскрыта на странице об ихтиологии. Вместо закладки художественная пластина, а на ней бездна мерцающих звезд, глубинная синь галактики, распадающийся на части огненный шар...

Мне показалось, будто нечто подобное я видел. Пытаюсь вслух перебрать музеи, выставки с работами палешан. Автор пластины приходит на помощь:

— Да, моя прежняя работа «История земли» выставлена в Третьяковке. На одиннадцати предметах письменного прибора там изображены главные этапы образования планет и отдельные картины трудовой деятельности человека. Но кое-что там устарело. Появились новые гипотезы... Хочу написать заново.

Николай Михайлович показывает готовые работы последнего времени. Среди них тарелка с красочной импровизацией по мотивам произведений Н. А. Некрасова. В центре картины очень выразительный портрет поэта.

— Моя тема! — с теплинкой в выцветших глазах говорит он.— Много приходилось писать малышей, да и крестьянских детей пишу не впервой, а все тянет к себе ребятня...

В лицах детей бездна очарования! Живописная пестрота крестьянского быта той поры, бедность одежд скрадывается яркостью красок, тонкой игрой линий, динамикой метко схваченных движений, богатством окружающей природы. Что-то милое и смешное видится сейчас в лапотках, расписанных позолотой, в праздничных узорах на посконных рубахах. Однако дети в изображении Н. М. Зиновьева не только цветы жизни, носители беззаботного веселья. Это сложные и подчас даже слишком сложные люди, способные радоваться непосредственно, переживать глубоко. В их образах художник передает светлые и теневые грани большого и противоречивого мира.

Детство самого художника было тяжелым, но скрашивали памятные встречи в родительском доме с людьми бывалыми, одаренными. Долгими зимними вечерами засиживался у них приятель отца Василий Васильевич Крылов. Наведывался и однофамилец, а может, и дальний родич Аким Зиновьев. Оба они в свое время работали в иконописной мастерской Д. А. Салабанова в Нижнем Новгороде. Как раз в ту пору Акулина Каширина привела к ним в ученики четырнадцатилетнего отрока Алешу Пешкова. У иных «богомазов» уже были ученики, а Аким Зиновьев писал сам, без подручного. Он подозвал юного Пешкова к себе, пытался приохотить к своему ремеслу. Так, по преданиям дягилевцев, их земляк Аким Зиновьев стал «третьим учителем» А. М. Горького в его жизненных университетах. Первым была бабушка Акулина, вторым — повар Смурый... Кое-что из воспоминаний об этой поре в их доме запомнил Николай Михайлович. Особенно горазд был на откровения такого рода В. В. Крылов.

— С Лексеем Пешковым,— говаривал гость в доме отца,— я щи хлебал из одной миски, на полатях впокат лежали рядом... А теперь, глянькось, где Лексей воспарил... И ты, Коля, старайся. Может, и ты в знаменитости попадешь. Тогда о нас вспомни.

Был в те годы у Коли Зиновьева закадычный дружок. Вместе ходили они за окунями на Лелюх, сиживали у костра в ночном. Учились они оба в иконописной школе. Звали дружка Павел Корин. По окончании этой школы им выдали свидетельства мастеров иконописания, но умели эти рослые крестьянские парни нарисовать портрет, расписать стены храмов. Для Николая Михайловича профессия эта стала основной на долгие годы. Павел Дмитриевич стремился к станковой живописи, мечтал о художественном училище.

Николай Михайлович должен был чуть не с десяти лет помогать отцу по хозяйству, потому и не помышлял о дальнейшем образовании. Жизненные пути друзей нередко расходились. Однако не случайными были их встречи.

С 1907 по 1911 год Н. М. Зиновьев работал по найму в мастерской купца Малова, в подмосковном поселке Малаховке. Хозяин разбирался в живописи, настоящим мастерам платил не в обиду, однако человеком был неважным, своенравным. Любил покуражиться. Однажды на глаза ему попался стройный русоволосый юноша интеллигент-

Н. ЗИНОВЬЕВ. Роспись по мотивам сказки П. Ершова «Конек-Горбунок».



Н. ЗИНОВЬЕВ. Роспись по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина.

«Песня о Буревестнике» А. М. Горького.

ного вида, приехавший повидаться с Зиновьевым. Пришлось представить его Малову. Купчик пожелал проверить способности Павла Дмитриевича и остался доволыным его пробной картиной. Молодой П. Корин тогда скитался без работы и надеялся получить место в мастерской. Но хозяин захотел испытать новичка на покорность:

— Сходи-ка, парень, на край поселка и принеси корзину свежей земли, на клумбы в палисаде высыпешь...

— Я художник! — оборвал Павел Дмитриевич наглеца.— В Москву приехал учиться живописи, а не выполнять прихоти невежд!..

Рискуя потерять обжитое место, Николай Михайлович поддержал друга. Места в мастерской П. Корину, конечно, не дали. Труден был путь крестьянских детей к своей мечте. Но все же Павел Дмитриевич добился своего, окончил училище, стал впоследствии одним из выдающихся советских художников, лауреатом Ленинской премии. Всемирное признание своего таланта в искусстве миниатюры получил и народный художник Н. М. Зиновьев. Почти каждое лето приезжал П. Д. Корин в родные места. Нередко вместе с ним навещали Палех художник Ю. Непринцев, искусствовед М. Тихомирова. Они всегда были желанными гостями в доме Зиновьевых.

До того, как основательно заняться художественной миниатюрой, Николай Михайлович испытал себя во многих профессиях. В первую мировую войну он служил рядовым сибирского полка.

Семья требовала помощи. У отца ослабело зрение, младшие братья и сестры не могли сами справиться с хозяйством. Пришлось вернуться из Москвы и стать за отцовский плуг. Впрочем, многие прирожденные работники кисти занимались тем же: потребность в иконах пала, храмы пустели. Народ искал новые пути к переустройству жизни, в том числе и пути к своему новому, пролетарскому искусству.

На пышных ярмарках, которыми всегда отличались Палех и Шуя, Николай Михайлович видел, как некоторые прежние иконописцы торговали сундучками, коробицами, расписанными под какой-нибудь затейливый сюжет из народной бывальщины. Их раскупали ради забавы детям. Временами среди аляповатых набросков кустарей попадались мастерски выполненные картины. Плата была одна и та же: десяток яиц или кошелка картофеля. Особенно много таких изделий стало появляться, когда из отхожих промыслов вернулись в Палех И. Голиков, И. Вакуров, А. Котухина. Роспись бытовых предметов они сделали своей основной профессией и организовали артель. Люди творческие, неутомимые в исканиях, они интуитивно набрели на способ соединить лаковую живопись древнерусских мастеров с композициями на темы сказок. Осваивали и современные сюжеты. Успех был необычайно шумным. Постепенно и другие мастера кисти, с ними и Николай Михайлович, приобщались к искусству миниатюры. Их усилиями, индивидуальным почерком каждого в этом общем стиле, разнообразием тем и яркостью воплощения они создали мировую славу русской миниатюре. Еще в 1925 году палешане получили на парижской художественно-промышленной выставке высшую награду. По существу, это было первое признание за рубежом народного искусства молодой Страны Советов.

Николай Михайлович с первых проб освоил технику миниатюры и вскоре вошел в число ведущих ее мастеров. Вслед за чернильным прибором и импровизацией на тему «Гулянка» он создал несколько шедевров, украшающих ныне многие музеи страны и достойно представляющих русское искусство на зарубежных выставках. Помимо упомянутой уже «Истории земли», в Третьяковской галерее выставлены: шкатулка «Штурм Измаила», платочница «Оборона Ленинграда». В Музее Революции есть его шкатулка «Праздник урожая», в Русском музее — композиция на тему «Пионеры на воскреснике», в Пушкинском доме — «Семь выдающихся произведений А. С. Пушкина».

В 1937 году за несколько работ, представленных на парижскую выставку, Н. М. Зиновьеву присуждена высшая награда — Гран-при. Основным произведением, привлекшим внимание мировой прессы, была композиция на тему романа Анри Барбюса «Огонь». На небольшом подносе размером в обыкновенную тарелку автор вместил сотни образов людей разных возрастов и сословий, множество картин, связанных с войной, изобразил во всей глубине человеческие страдания. В эту уникальную по выразительности и технике исполнения работу автор вложил определенное, созвучное своему времени идейное содержание. «Сейчас, когда фашизм готовит новую бойню,— писал, готовясь к выставке, Н. М. Зиновьев,— я считал своим моральным долгом художника напомнить нашим советским людям и тем, которые будут смотреть парижскую выставку, об ужасах войны, о необходимости всеми средствами бороться против поджигателей войны — фашистов».

Время подтвердило со всей полнотой тревогу художника и гражданина за будущее своей страны и всего человечества. Не прошло и четырех лет, как фашисты напали на нашу страну. На фронт ушли все без исключения палешане, способные носить оружие. Двадцать восемь профессиональных живописцев не вернулись в свои мастерские. В их числе родной сын Николая Михайловича Виктор и зять Павел Баженов. О последнем до сих пор говорят как о выдающемся мастере, достигшем зрелого письма еще в юношеские годы. Вот какие потери кроются подчас за скупыми строками официальных извещений: «Пал смертью храбрых...»

Когда сын и зять ушли на войну, Николай Михайлович принял дела у председателя колхоза, стал главой сельхозартели в родных Дягилях.

Двенадцать лет затем Н. М. Зиновьев был директором Государственного музея палехского искусства, совмещал организаторскую работу по собиранию разошедшихся по стране сокровищ живописи с преподаванием в училище.

О своих учениках Николай Михайлович говорит с гордостью и со смущением. Их много, всех не перечислишь. Есть заслуженные деятели искусств, заслуженные художники, есть просто отличные мастера тонкой кисти.

— Начни перечислять, кого-нибудь да не упомянешь, обидится,— поясняет он.— Почти все нынешние прошли перед глазами.

Несколько фамилий все же называет.

Чтобы не показаться слишком благополучным в сложном деле воспитания творческой молодежи, художник рассказал о недавнем «конфликте» с одним способным, но слишком увлекшимся новациями студентом. Принес юноша пластину размером почти в метр: не миниатюра, не панно... Фигуры сантиметров по шестьдесят, выполнены кое-как, но с претензией на оригинальность. Эскизно, без технической проработки. Пришлось сказать об этих недостатках рисунка «новатору» прямо.

Юноша был явно не в духе:

— Техника!.. Традиции!.. Надоело это все, сто лет сидим на одном и том же!

Николай Михайлович спокойно поправил молодого человека:

— Не сто, а триста лет... Стиль древнерусской живописи палешане берегут три века, а может, и того больше... Когда настало время, иконное ремесло сами же палешане преобразовали в новую самобытную ветвь национального искусства, которое получило всемирное признание... Что отжило, отбросили, а технику сохраняли и развивали. Без своего стиля Палех немыслим так же, как не может быть настоящего художника без овладения им техникой живописи.

...Через распахнутую форточку в мастерскую льется птичий щебет, прожорливые скворцы рвут с веток набухшие почки. Над прогретой пашней вьются синие костры испарений. Художник не усидит в такой день над шкатулкой. Что-то будет мешать ему сосредоточиться, скоро он поймет, что нынче работа с кистью просто не ладится. Не раз выйдет на крыльцо, оглядит омытое дождями небо, постоит на просохшей меже, разомнет теплый кусочек земли меж пальцев. Если глаз приметит подгнившее бревно, руки потянутся к топору. Сошла талая вода с огорода, обозначились прошлогодние грядки,— не утерпит, взрыхлит их лопатой. Супруга Александра Алексеевна будет опускать в свежие лунки приготовленные загодя картофелины с желтыми глазками ростков... А потом они будут выходить росными зорями на грядки, радоваться первым всходам. И в этих заботах не просто привычная дума о хлебе насущном, а нечто высокое, содержащее радость жизни, истоки того, что приводит истинного творца к искусству.

В мою бытность в Дягилево шофер привез Зиновьеву машину дров. Крупные поленья свалил кое-как напротив окон. Один из молодых гостей кинулся было к груде поленьев, чтобы перетаскать их под навес. Николай Михайлович с ревнивой поспешностью остепенил добровольца.

— Не обидьтесь, это мое любимое занятие — пилить и колоть дрова. Покамест справлялся,— не без гордости заявил он.

К торжественному вечеру, посвященному 75-летию народного художника, друзья подсчитали: только в протоколах художественного совета отмечено около 300 оригинальных работ Николая Михайловича в жанре лаковой миниатюры. Это помимо росписи стен во дворцах культуры, реставрационных работ в Успенском соборе Кремля и Петергофском дворце, кроме живописи, оставленной в Ново-Афонском монастыре.

В миниатюрах Н. М. Зиновьева чувствуются традиции древнерусской школы строгановского стиля XVII века с характерной для этой школы мелкой росписью контуров одежды, резкими бликами вокруг и вблизи тех мест, которые живописец почему-либо хочет выделить, четкостью пробелов и непременным обрамлением. Затейливый орнамент, будто музыка, сопровождает и подчеркивает особенности отдельных элементов композиции. Чувствуется и близость фресок Спаса-Нередицы. Эти качества, обогащающие индивидуальный почерк мастера, особенно проявляются в работах на тему народных сказок. Впрочем, не только у одного этого художника.

О художниках Палеха написано немало книг, защищены диссертации. Николай Михайлович задумал рассказать о самом процессе создания композиций, о секретах мастерства наиболее выдающихся, самобытных художников. Начал свой многолетний труд автор с того, что воспроизвел в цвете 34 самых оригинальных произведения собратьев по кисти. Рисунки сопроводил беседами об истории возникновения каждого из них, о технике изготовления драгоценных шкатулок и ларцов. Такая книга нуждалась в особом оформлении, и автор неторопливо, творчески выполнил все, начиная с обложки и кончая всякими заставками и концовками. Сюда же вошло 28 новых картин автора и тщательное описание своих методов овладения тонкой кистью. На это ушло более пяти лет.

Книга Н. М. Зиновьева «Искусство Палеха» скоро выйдет в свет. Она, несомненно, привлечет внимание читателей и получит оценку специалистов.

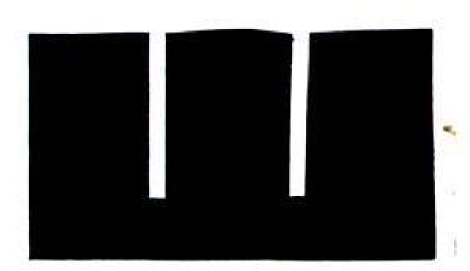
П. Д. Корин перед своей кончиной ознакомился с рукописью друга детства и сверстника юных лет и предпослал будущей книге небольшое предисловие, в котором вспомнил горьковские слова о русской миниатюре палешан как о маленьком чуде, рожденном революцией. «На какой основе и традициях выросло это «чудо»? — пишет автор предисловия.— Книга одного из старейших и выдающихся мастеров палехского искусства, Н. М. Зиновьева, исчерпывающе отвечает на этот вопрос. Она дает полное представление о приемах и технике иконописи и развитии нового палехского искусства».

Сейчас, в этот летний день июня, когда вы, дорогой читатель, держите в руках номер журнала с краткими заметками о поездке в одну из маленьких русских деревень, над Дягилевом ярко-синее летнее небо. Легкий ветерок доносит из поймы трех речушек запахи цветущего разнотравья. В окрестье царит разноголосица птиц, слетевшихся на гнездовье.

Возможно, как раз в этот час из калитки дома с березой неторопливой походкой выходит с папкой в руке высокий седоусый старик. Вот он приблизился к шоссе, пропускает мимо бегущую попутную машину. Кто-то приветливо кивает ему из кабины, замедляя ход машины. Но старик, ответив улыбкой, идет себе дальше.

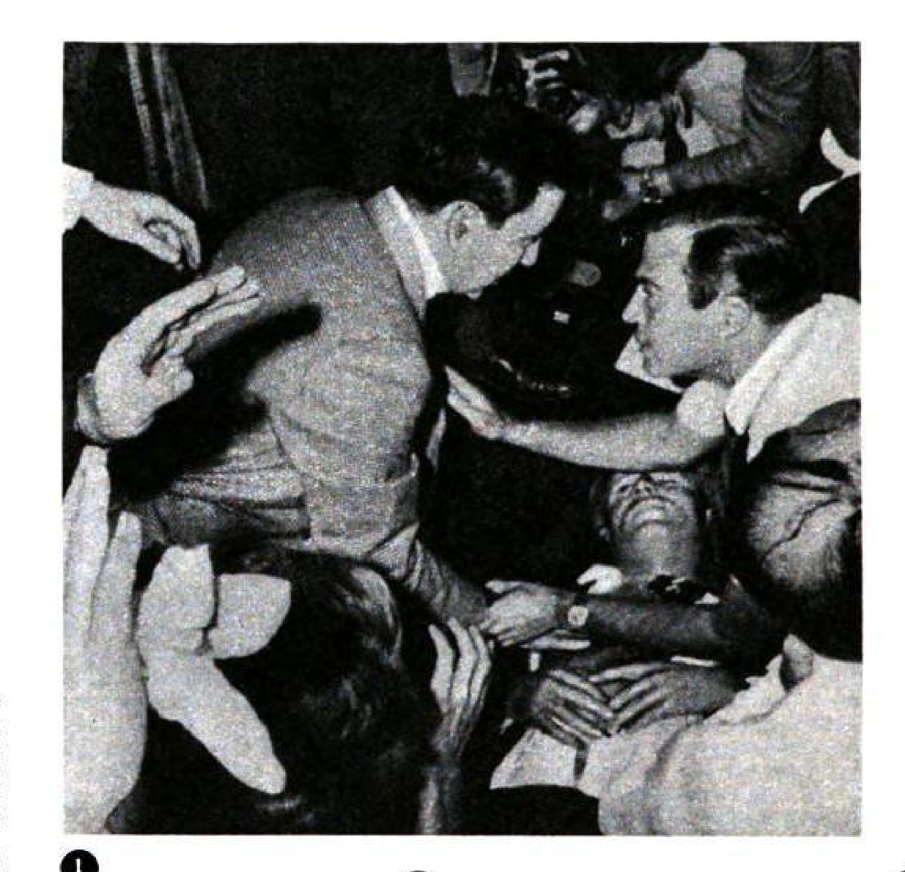
Если вы встретите этого путника, поклонитесь ему. Он совершил подвиг во славу своего народа и продолжает этот подвиг. Он несет людям радость.

Стреляющие



ХРОНИКА УБИЙСТВ

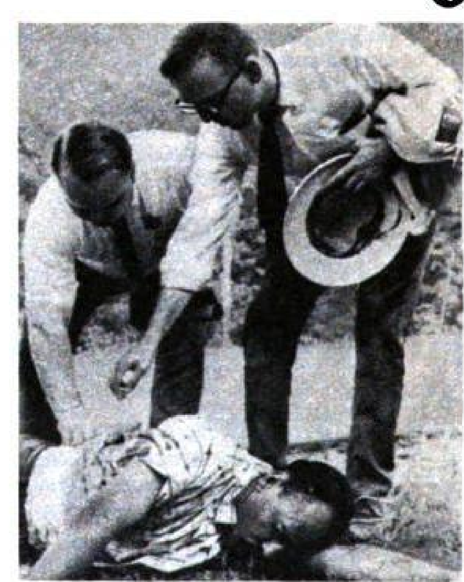
Генрих БОРОВИК,
собственный корреспондент АПН



1



2



4

У этого убийства не было начала и нет конца, хотя все отхронометрировано точно. Известно, что пули вошли в голову и плечо сенатора Кеннеди в 0 часов 15 минут (время тихоокеанского побережья США) 5 июня 1968 года; скончался он, не приходя в сознание, 6 июня в 1 час 44 минуты. Гроб с телом был опущен на землю Арлингтонского кладбища в Вашингтоне 8 июня в 22 часа 30 минут (время восточного побережья). Еще через 15 минут ближайшие друзья покойного сенатора растянули над гробом и потом сложили флаг Соединенных Штатов. Космонавт Гленн отдал флаг Эдварду Кеннеди, а тот передал его Этель — вдове Роберта Кеннеди.

Все отхронометрировано. Но у этого убийства нет временных рамок. И хронику его можно начинать и вести произвольно. Ведь не хронология определяет порядок событий. Иногда причина заявляет о себе значительно позже следствия.

Во всяком случае, для начала я избираю не драматический момент быстрых, почти пулеметных выстрелов из револьвера в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, а гораздо менее начиненный событиями день 8 июня в Нью-Йорке.

12. 00. Караван длинных распластанных черных машин — траурный кортеж — движется по Пятой авеню. Благодаря сильному телевику я вижу их сплющенными, сдвинутыми мне навстречу. Солнце, отражаясь в тщательно отполированной поверхности, бьет в глаза, как луч из гиперболоида. Мотоциклисты в белых пластиковых шлемах неестественно удлинены, будто печальный караван сопровождают баскетболисты — «глобтроттеры». Плотная толпа стоит вдоль Пятой авеню, густо забив тротуары от полицейских перил до великолепных витрин «Сакса», «Бест энд компани», «Корвета». Молчат. Многие плачут.

Я пытаюсь объяснить себе эти слезы. Наверное, горе Америки значительно шире, оно не замыкается на личности Роберта Кеннеди. Сегодняшние слезы — трагическая разрядка чудовищного, неестественного напряжения, в котором живет страна. Убийство Кеннеди — повод для слез, которые скопились давно.

12.15. Прерваны телевизионные передачи. Диктор сообщает, что в лондонском аэропорту арестован Джеймс Эрл Рей, обвиняющийся в убийстве доктора Мартина Лютера Кинга 4 апреля 1968 года. На экране возникают две фотографии. На обеих моложавое лицо преобыкновеннейшего американца в вечернем костюме (его снимали во время вечеринки) при «бабочке». На одном фото глаза у него закрыты (моргнул, когда вспыхнула лампа фотоаппарата), на другом — открыты (это уже работа полицейского художника). Обе фотографии я видел два месяца назад в американских газетах. А совсем недавно в Бостоне видел их в здании суда, где идет процесс над доктором Споком.

11.15 (лондонское время). Когда агенты Скотланд Ярда подошли в зале ожидания лондонского аэропорта к человеку в легком дождевом плаще и спортивном костюме, он не пытался сопротивляться аресту. Он прилетел из Лисабона и ждал посадки на самолет в Брюссель. При нем нашли два паспорта на имя Рамона Джорджа Снейда и заряженный пистолет. Рамон Снейд, он же Эрик Голт, он же Джеймс Рей, не сказал ни слова. Лицо его, как отмечают агенты Скотланд Ярда, не носило никаких следов попыток сделать его неузнаваемым. Кроме, пожалуй, очков.

Один из паспортов, как оказалось, был выдан Джеймсу Рею в Оттаве (фотография на его заявлении о заграничном паспорте и послужила нитью для поимки), другой — канадским консульством в Лисабоне.

Рей приехал в Торонто (Канада) на четвертый день после убийства Мартина Лютера Кинга. И жил там четыре недели, не зная особых тревог и только один раз сменив гостиницу. (Именно в эти недели министр юстиции США Рамсей Кларк несколько раз объявил прессе, что агенты ФБР буквально сидят на пятках у убегающего преступника и даже знают колонки, где Рей заправлял свою машину бензином.) Затем, получив паспорт, Рей купил за три сотни долларов билет на самолет и отправился в Лисабон. Там он, видимо, жил до последнего времени, пока 8 июня не вылетел в Брюссель с пересадкой в Лондоне...

9.45 (время Нью-Йорка). 2 500 человек приглашены в собор святого Патрика — самый популярный католический собор в США — на траурную мессу, которую будет вести архиепископ Нью-Йорка Кук, преемник покойного кардинала Спеллмана. 2 500 человек один за другим поднимаются по плоским ступеням собора. 2 500 человек — все из справочника «Ху из ху ин Америка» («Кто есть кто в Америке»). Квинтэссенция справочника. Вытяжка из квинтэссенции.

Тысячи столпившихся вокруг собора с любопытством смотрят на людей, о которых говорят в Америке: «Они ведут дело». Еще их называют «селебритиз» — «известности». Или «ВИП» — «вери импортант пипл» — «очень важные люди». И даже «ВВИП» — «очень, очень важные люди». По ступеням поднимаются власть, миллионы, слава.

На них не смотрит только полиция и секретные агенты. Полиции и секретным агентам полагается смотреть за другими людьми. Поэтому они стоят спиной к ступеням, лицом к толпе.

— Губернатор Рокфеллер,— слышу я голос корреспондента Эн-Би-Си,— его лицо скорбно и серьезно...

Сенатор Барри Голдуотер, его лицо скорбно и серьезно...

Сенатор Джавитс, его лицо тоже серьезно и скорбно...

Нет, это не ирония телекомментатора. Так оно и есть. Большинство лиц скорбно и серьезно. Я бы добавил еще, что это в основном сильные лица. Мужчины одеты одинаково просто — темные костюмы. Их подруги позволяют себе траурную изысканность. И каждая быстро и зорко оглядывает соседку: как одета? Не старомоден ли траур? Не одевалось ли это же платье на похоронах Джона Кеннеди? Вот было бы мило! Нет, все в ногу с моднейшими течениями в траурных моделях — мини-траур.

— Вы видите Ричарда Никсона и его жену Патрицию...— говорит телекомментатор. Но о выражении лица Ричарда Никсона комментатор ничего не говорит. Потому что Никсон, поднимаясь по ступеням собора... улыбается. Нет, я далек от мысли, что он не может скрыть радости от потери возможного конкурента на тернистом пути к президентскому креслу. Просто сработал непроизвольно рефлекс человека, привыкшего обязательно улы-

ГАТЫ АМЕРИКИ



3

МНЕНИЕ САЙРУСА ИТОНА

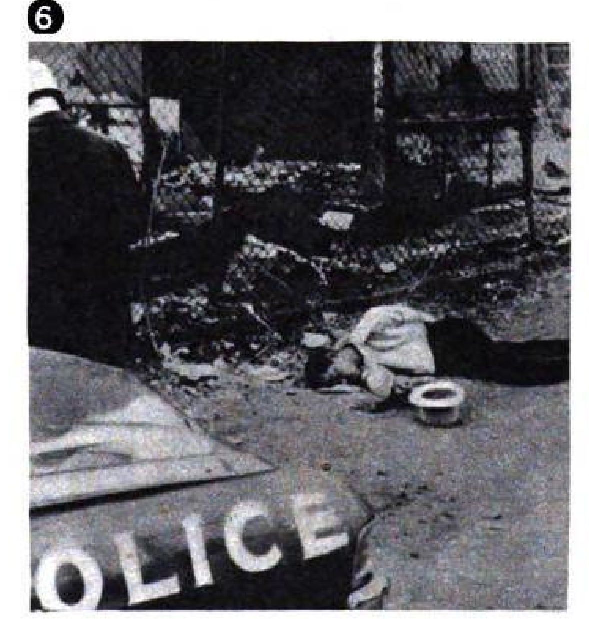
В день покушения на Роберта Кеннеди корреспондент «Огонька» встретился с известным американским общественным деятелем Сайрусом Итоном, гостившим в Москве.

— Господин Итон, что вы думаете о сегодняшнем событии?
— Это трагическая новость. Ужасное невезение. Я очень сожалею об этом.
— Как вы расцениваете покушение на Роберта Кеннеди после недавнего убийства Джона Кеннеди и Мартина Кинга?
— Мы, американцы, должны найти пути к тому, чтобы таких событий больше не случалось. Я думаю, что мне придется говорить об этом на родине, куда я вылетаю завтра...

5



6



7



Убит сенатор Роберт Кеннеди (1).

Никто не ждал этого. Но это не было неожиданным. Вооруженный убийца стал символом Америки не сегодня и не вчера (2).

1963 год. Имя процветающего техасского города — Даллас — занесено на скрижали истории в позорной рамке. Даллас — это преступление за преступлением. Пулей наемного убийцы сражен американский президент. Скорбны лица вдовы Жаклин, братьев Роберта (он слева) и Эдварда (3). Они провожают Джона Кеннеди в последний путь на Арлингтонское кладбище. Двадцать четыре человека, в той или иной степени причастных к событиям в Далласе, погибают насильственной смертью. Виновных нет, список жертв остается открытым. «Если вопрос «кто убил президента!» важен, вопрос «что убило президента!» еще важнее»,— сказал Мартин Лютер Кинг.

1966 год. На пыльной дороге Миссисипи падает раненный тремя пулями Джеймс Мередит, известный борец за права негров (4).

1968 год. Ружье с оптическим прицелом, излюбленное оружие американских убийц, нацелено в Мартина Лютера Кинга. Кинг, сторонник учения Ганди о ненасильственных действиях, становится жертвой насилия. Стоя около смертельно раненного Кинга, его друзья показывают на окно, из которого стрелял убийца (5).

Еще один убитый — тоже негр. Его имя неизвестно. Им мог быть любой негр США. Зато известен убийца — американский расизм (6).

Кто воспитан на праве силы и кольта, кто без колебаний убивает индейцев и негров в собственной стране, кто сжигает напалмом десятки тысяч мужчин, женщин и детей Вьетнама (7), тот не остановится ни перед чем.

Такова сегодняшняя капиталистическая Америка!

Фото ЮПИ, журналов «Пари-матч», «Лайф».

баться толпе. Кандидат должен всегда улыбаться. А Никсон всегда кандидат.

Проходит вице-президент Хэмфри с супругой. Президент и леди Берд.

10.00. Собор внутри еще более огромен и величествен, чем кажется снаружи. Две с половиной тысячи человек занимают места на длинных и тяжелых, какие бывают только в церквах, на вокзалах и в ночлежках, скамьях. Прежде чем сесть, Джонсоны опускаются коленями на подушечку. Несколько мгновений молятся, опустив головы. Хэмфри поджал губы. Голдберг вытирает лоб платком. Раск сидит неподвижно. Архиепископ Теренс Кук в тиаре держит руки на уровне лица, как хирург перед операцией.

Спокоен и неколебим воздух там, наверху. Его перерезают лишь легкие нити — лучики солнца, проникающие через витражи. И такие же нити, кажется мне, связывают, переплетают, разделяют друг от друга тех, кто сидит на церковных скамьях. Внизу, правда, этих нитей не видно. Внизу свет от телеюпитеров. На свету нити неразличимы.

У меня, как говорится, нет юридических оснований, но я не верю этому залу, этому собору, где говорят о том, что надо извлечь из человеческого сердца ненависть. Не верю хотя бы потому, что полтора года назад видел окровавленное тело ребенка на паперти.

29. 12. 1966. Ребенок был ненастоящим. Просто папье-машевая кукла, самодеятельно выклеенная и раскрашенная. Белое тельце и красные пятна. Хорошие люди — актеры нью-йоркского кукольного театра — положили куклу на паперть собора. Положили с одной, немного наивной целью: пусть прихожане увидят, что делают их братья, сыновья и мужья во Вьетнаме. Они положили куклу на паперть собора святого Патрика, потому что именно из этого собора кардинал Спеллман благословлял убийство во Вьетнаме. Полиция арестовала куклу...

8. 6. 1968. В городе Сан-Луисе живет брат человека, которого арестовали сегодня в лондонском аэропорту,— Джон Ларри Рей. В интервью корреспондентам он сказал: «Я не удивлен, что он был в Лондоне. Я удивлен тем, что его поймали. Если мой брат убил Кинга, он это сделал за большие деньги. Он никогда ничего не делал, если не получал за это деньги. А те, кто заплатил ему, не хотят, конечно, чтобы он сидел в суде и рассказывал все, что знает... Вот почему я удивлен его арестом». Еще Джон Рей сказал, что до поступления в американскую армию Джеймс Рей не пил, не курил, был хорошим работником. «Но армия изменила все его взгляды на жизнь...»

8. 6. 1968. 4.30. Собор откроется для публики в пять утра. Вдова пришла сюда в это раннее время, чтобы хоть несколько минут побыть наедине с покойным. С того момента, как врач сказал, что он мертв, она ни разу не была с ним наедине. Но и сейчас ей сказали, что ее будут снимать. Ее хотят снять одну у гроба, одну в соборе. Она не хотела, но друзья сказали: это надо, н а д о.

И включены юпитеры. Тени мечутся под ногами. Кто-то громким шепотом отдает команду, куда све-

тить. Зрители все равно поймут, что она не одна.

Я смотрю на ее растерянное лицо, и горло обволакивает тяжесть. Я видел ее всегда только улыбающейся. Она была женой кандидата, а жена кандидата тоже должна постоянно улыбаться, особенно прессе...

Он обладал всем, что требовало от него положение кандидата в президенты. Он хорошо говорил, обаятельно улыбался, весело шутил, если нужно — перебегал улицу, чтобы пожать руку старику, вышедшему приветствовать его. У него было имя старшего брата, неограниченные средства и блестящие советники Джона Кеннеди. Он был отцом десятерых детей, и, говорят, хорошим отцом. Во всяком случае, успевал уделять внимание всем десятерым. Они ждали одиннадцатого...

И все же многие честные и вдумчивые люди в Америке задавали себе вопрос: кто он?

Его звали легко и просто — Бобби. Но не только потому, что в Америке. И не просто потому, что молод. Это еще и потому, что «Бобби» было удобно и для друзей и для врагов. И для тех, кто его любил, и для тех, кто его презирал. Бобби — это дружески, но это и презрительно.

А среди тех, кто его презирал, было много и по-настоящему честных американцев. Ему не прощали активную службу в комиссии Джо Маккарти. Он был в свое время одним из самых реакционных министров юстиции. Противники войны во Вьетнаме никогда не забывали, что Роберт Кеннеди был одним из патронов «зеленых беретов».

О мертвых либо ничего, либо хорошо. Но Роберт Кеннеди был сложным и противоречивым человеком, жившим в обесчеловечивающем обществе, которое повинно в трагедии, разыгравшейся ночью с четвертого на пятое июня в отеле «Амбассадор».

8. 6. 68. 12.45. Заканчивается месса. Я вижу ребят — сыновей и дочерей Роберта Кеннеди. Трехлетний играет с флагом: он еще совсем ничего не понимает. Я вижу подросшего Джона Джона Кеннеди — сына покойного президента, который на своем маленьком веку хоронит уже второго близкого ему человека. И подростка Каролину. И мать — Жаклин Кеннеди. Она почти не изменилась с того трагического ноября 1963 года. И вуаль на ее лице вдруг заставляет очень остро вспомнить тот тяжелый месяц.

А вокруг сидит квинтэссенция из справочника «Кто есть кто в Америке». Но я бы не сказал, что сидят хозяева Америки. Сидит, если хотите, «исполнительная власть». Я вовсе не имею в виду, что кого-то с Уолл-стрита позабыли пригласить. Я имею в виду сами принципы этого общества, стихийные и взлелеянные, которые воспитывают этих людей, именно эти принципы, эта высшая власть скручивает их, неумолимо подчиняет своим законам, возносит и, если нужно, уничтожает физически.

Может быть, я несправедлив к этому залу? Ведь там есть искренние люди, и их горе неподдельно. Да, это так. Может быть, и среди самых расчетливых людей, «ведущих дело», есть такие, что забыли на минуту обо всем, пораженные человеческим горем? Да, может быть, на мгновение. Может быть, там есть люди, которые, слушая слова архиепископа о ненависти в человеческих сердцах, думали об Америке. Что происходит с ней? Кеннеди. Кинг. Снова Кеннеди. Не много ли? Не сходит ли Америка с ума? Кто следующий?

А сколько за это время было убийств, куда менее, так сказать, шумных! Убийств расистских, шовинистических, убийств бессмысленных — от озлобления к миру, к людям, к обществу. Разве убийство расистами-полицейскими одиннадцатилетнего негритянского мальчика Эрика Дина в Бруклине не такое же и даже более трагическое преступление, чем это?

Просто в убийстве Кеннеди сконцентрировалась по многим причинам вся боль, все отчаяние, весь кризис больной страны...

Разве нет людей, рассуждающих так, в этом соборе? Наверняка есть. И все же, мне кажется, я не грешу против истины. Там, на улице, потные плачущие люди со своей наивной верой в «доброго сенатора» куда человечнее, а значит, и сильнее этой квинтэссенции Америки. Они сильнее системы, в которой живут.

Нью-Йорк, июнь.

ЧЕЛОВ БЕЗ ЛИЦ

Стефан ЕЖЕВСКИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Директор отеля «Столица» подошел к окну и посмотрел вниз. По стеклу бежали крупные капли дождя.

— Пан Вальчак,— директор обернулся к начальнику административно-хозяйственного отдела,— на террасе кафе мокнут столики и стулья. А ведь я уже две недели тому назад говорил вам, что их нужно перенести на склад.

— Сейчас я все устрою, пан директор. Простите, совершенно забыл об этом.— Вальчак направился к двери. Когда директор снова повернул голову от окна, в кабинете уже никого не было. Он устало вздохнул и начал просматривать счета, лежащие на столе.

Не прошло и пятнадцати минут, как зазвонил телефон. В трубке директор услышал отрывистый, прерывающийся голос Вальчака. Тот задыхался и буквально давился словами:

— Пан директор! Это страшно... Это ужасно... Я не знаю, что делать... Я потрясен...

— Говорите ясней, в чем дело, или не морочьте мне голову!

— На террасе кафе лежит мужчина.

— Ну и что?

— Он мертвый!

Директор положил трубку. Потом вскочил со стула и, как бильярдный шар, покатился к дверям. Он отлетел от дверей и снова оказался около стола. Дрожащими руками набрал номер отделения милиции.

Через пятнадцать минут у отеля «Столица» остановился автомобиль, из которого вышел высокий худой мужчина с папкой в руках. У него были большие торчащие уши, на них, как на подпорки, опиралась видавшая виды шляпа. Брюки едва доходили до щиколоток. Шагая по лестнице, мужчина поднимал ноги, как аист, бродящий по мокрому лугу.

Через минуту он был уже на террасе, где собралась толпа.

— Кто здесь директор отеля?

Звуки могучего баса заставили всех присутствующих обернуться. Из толпы выступил дородный мужчина с напомаженными волосами.

— Я Славиковский, директор отеля. Чем могу быть вам полезен?

На лице прибывшего появилось нечто, что при большой доле воображения можно было бы назвать улыбкой.

— Если вы не знаете, чем можете быть мне полезны, зачем же вы меня вызывали? Я из милиции. Поручик Любич.

Не успел директор и слова сказать, как поручик снова загремел своим могучим басом:

— Граждане, напрасно вы тут мокнете! Прошу вас покинуть террасу.

С явной неохотой толпа начала медленно расходиться. На террасе остались только Славиковский, Вальчак и поручик.

— Ну, так...— вздохнул Любич, наклоняясь к мужчине, лежащему на животе, с неестественно повернутой головой.— Я надеюсь, что никто здесь ничего не трогал?

— Никто не осмелился, пан поручик...

— Вы знаете, кто это?

— Еще нет, но мы сейчас постараемся узнать.

Любич встал, вытер рукавом испачканные на коленях брюки, поправил сбившуюся шляпу и посмотрел вверх.

— Достаточно будет, если вы узнаете, кто занимал номер 1102. Пошлите кого-нибудь к портье.

Вальчак, который стоял рядом, встрепенулся.

— Уже бегу!

Директор искоса взглянул на Любича. Вид поручика ему не нравился. Начиная со слишком коротких брюк и кончая порыжевшей шляпой. И еще этот голос, звучащий как будто из колодца... Культурный и хорошо воспитанный человек не должен иметь такого голоса.

— Пан поручик, вы уже все знаете? — сказал директор принужденно вежливым тоном.

— Ничего я не знаю, пан директор,— пробурчал Любич и, вынув из верхнего кармана пиджака сигарету, закурил, с удовольствием затягиваясь дымом.— Любой, кто увидит тут человека в пижаме с разбитым черепом, а потом заметит, что на 11-м этаже распахнуто окно, должен прийти к выводу, что покойник относится к числу постояльцев отеля. А поскольку открытое окно второе от угла, то, немного зная ваш отель, легко предположить, что это окно номера 1102.

Славиковский покачал головой.

— Вы считаете, что это самоубийство?

— А какая, собственно, разница? — Любич поднял воротник пальто, как будто только сейчас он почувствовал, что идет дождь.

Директор ничего не ответил. Ему хотелось вернуться в свой кабинет.

На счастье, в дверях появилось несколько человек в милицейской форме и один в штатском. При их виде Любич оживился и помахал рукой.

— Быстрее, быстрее,— прогрохотал он своим басом,— этот проклятый дождь все смоет. Снимки со всех сторон. Отпечатки. Кровь на анализ... Доктор, я попрошу вас выяснить причину смерти. Я займусь установлением личности.

Он обратился к Славиковскому:

— Пан директор, не могли бы вы пройти со мной?

В холле их уже ждал Вальчак с книгой записи приезжих. Он подал ее поручику, уже открытую на нужной странице.

— Его фамилия Гурский, Ян Гурский, он приехал вчера после обеда из Кракова. Я уже был наверху, в его комнате...— Любич хмуро взглянул на Вальчака.

— Вы понимаете, пан поручик... Там его вещи. Если что-нибудь пропадет, мы отвечаем...

— Двери были заперты?

— Открыты, пан поручик, именно открыты. Хорошо, что я сразу пошел туда, могло бы пропасть что-нибудь...

— Хорошо, давайте поднимемся туда еще раз вместе.

Директор нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Пан поручик, я вам, наверное, уже не нужен?

— Пока нет. Хотя... Я, возможно, еще зайду к вам.

— Я буду все время в своем кабинете.

В номере 1102 Любич первым делом подошел к открытому окну и начал разглядывать сверху террасу. Однако он, вероятно, не увидел там ничего достойного внимания, так как через минуту закрыл окно и занялся осмотром комнаты.

Вальчак стоял у дверей и с интересом наблюдал быстрые, привычные движения поручика.

Любич откинул одеяло, лежащее на кровати, и коснулся рукой пододеяльника.

— Он не ложился в эту ночь,— пробормотал себе под нос.

Потом открыл шкаф и взял костюм. Осмотрел карманы, выложил на стол бумажник, носовой платок, расческу, непочатую пачку сигарет, зажигалку, связку ключей... Потом раскрыл чемодан. Две рубашки, носки, полотенце, кальсоны, запасная пижама, носовые платки...

Любич подошел к умывальнику, взглянул на туалетные приборы, расставленные на стеклянной полке под зеркалом. Потом начал потрошить бумажник, лежащий на столе. Не поднимая головы от документов, спросил:

— Где можно найти портье, который вчера дежурил?

— Он в бюро, пан поручик, сегодня как раз зарплата... Сейчас я позвоню ему.

Пока Вальчак набирал номер, Любич что-то тщательно выписывал из лежащего перед ним паспорта Гурского. Потом он снова подошел к шкафу, вынул плащ, шляпу и туфли. Все это он старательно сложил в чемодан. Когда Любич потянулся за костюмом, лежащим на кровати, чемодан опрокинулся, и все вещи вывалились на пол.

Поручик выругался и начал собирать их. Теперь он запихивал все в чемодан как попало, не заботясь о том, что ботинки могут запачкать чистые рубашки, а неплотно закрытый тюбик с кремом измажет костюм.

Однако когда очередь дошла до брюк от запасной пижамы, он вдруг, неизвестно для чего, разложил их во всю длину на кровати и внимательно осмотрел.

В этот момент раздался деликатный стук в дверь.

— Войдите,— загремел Любич, не прерывая работы.

В комнату проскользнул маленький засушенный человечек неопределенного возраста.

— Вы портье? — спросил Любич, закрывая чемодан.

— Да, это я.

— Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, в чем дело?

— Догадываюсь, пан поручик.

Любич почесал за ухом, достал из кармана сигарету и, закурив, начал вышагивать по комнате, высоко поднимая ноги, как бы преодолевая невидимые препятствия.

— Это вы принимали прибывшего вчера человека по фамилии Ян Гурский, который занял номер 1102?

— Да.

— Когда это было?

— Примерно двадцать минут как прошел экспресс из Кракова. Что-то около шести тридцати вечера. В это время приехало еще несколько человек из Кракова.

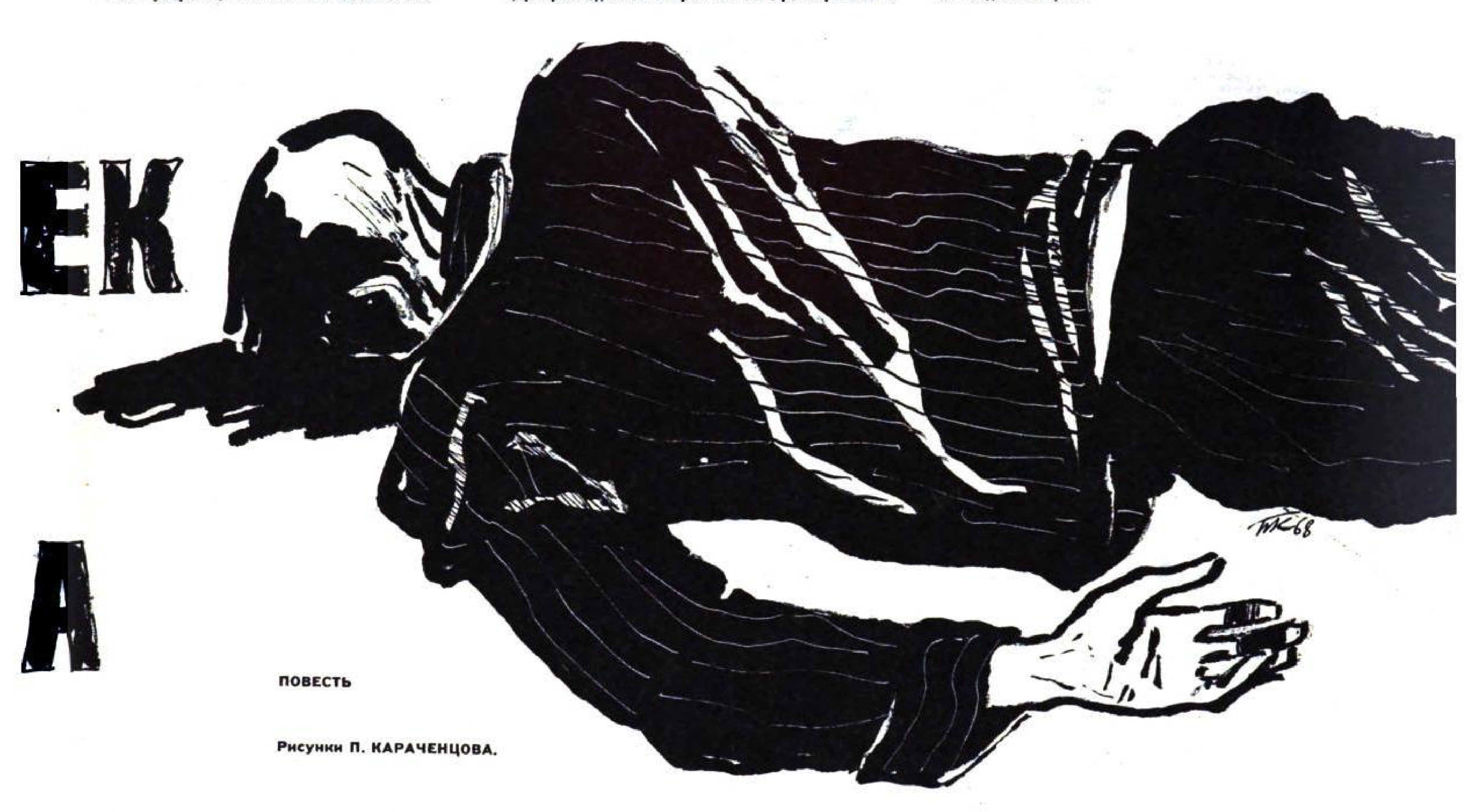
— Гурский выходил из комнаты?

— Да, пан поручик. В восемь часов он пошел ужинать.

— А когда вернулся?

— Мне трудно сказать точно, но, кажется, уже было за полночь.

— Вы уверены, что это был именно он?



ПОВЕСТЬ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

Засушенный человечек широко улыбнулся.

— Пан поручик, если кто-нибудь работает в отеле столько лет, сколько я, то помнит каждого постояльца.

Любич приостановился на середине комнаты и бесцеремонно стряхнул пепел сигареты на ковер.

— Вы уже видели труп на террасе?

— Само собой разумеется, пан поручик. Я видел его еще раньше вас.

— Вы узнали Гурского?

Портье старательно пригладил редеющие волосы.

— Да, это он, хотя... лицо совершенно изуродовано, трудно сказать что-либо с уверенностью.

Любич покачал головой.

— Ну, пока все. Спасибо.

Портье, который уже положил ладонь на ручку двери, обернулся.

— Пан поручик...

— Слушаю.

— Сейчас я вспоминаю, когда Гурский вернулся в свой номер. Была как раз полночь. Сразу после него из ресторана вышел другой приезжий, пьяный в стельку. Он орал во весь голос «Чао-чао, бамбино!». Тогда я заметил ему, что уже двенадцать ночи и что он находится в отеле. А пьяный подсунул мне под нос свои часы в доказательство того, что еще только десять. Его часы, конечно, стояли, но я не хотел с ним препираться и отправил его в лифт.

За портье закрылась дверь. Любич погасил в пепельнице окурок.

— Ну, что же, нам уже нечего тут делать,— сказал он Вальчаку,— протокол составим в кабинете директора.

Внизу поручика уже ждала оперативная группа.

— Все в порядке? — спросил Любич.

— Так точно, пан поручик,— доложил один из офицеров.

— Слушай, Филипп,— сказал мужчина в плаще, наброшенном на белый китель,— тело я отправил в отдел судебной экспертизы. Мне кажется, так на глаз, что смерть наступила около часу ночи. У него поломаны ребра, ключица, черепная коробка треснула в двух местах. Результаты вскрытия я перешлю вместе с результатами всех анализов. Самое позднее завтра. Ну, привет, я спешу.

— Привет! — Любич приложил два пальца к полям шляпы.

Сидя в машине, поручик обдумывал свое донесение. «Кроме этого,— думал он,— нужно сообщить семье, установить причины этого отчаянного прыжка и представить прокурору дело к закрытию».

В комендатуре Любич пробыл недолго. Поспешно набросал на вырванном из тетради листе донесение и дал его перепечатать машинистке. Потом распорядился, чтобы дежурный офицер проследил за отправкой телефонограммы с добавочной информацией о самоубийце в Лодзь, где Гурский был временно прописан.

— Какое-нибудь интересное дело? — спросил дежурный.

— Ужасно. Парень выскочил из окна, потому что его обманула жена.

Поручик не любил разговаривать о делах, которыми занимался, а кроме того, еще и спешил. С большим трудом он достал билет на детективный фильм, несколько дней тому назад вышедший на экраны, и не хотел опоздать к началу сеанса.

Помимо дешевых сигарет, Любич любил детективные фильмы. Еще подростком тратил все свои карманные деньги на кино, а иногда ходил по два-три раза на один фильм. Может быть, именно это толкнуло его пойти в офицерскую школу милиции.

Честно говоря, уже в начале работы Любич начал чувствовать что-то вроде разочарования. Ему не приходилось ни преследовать похитителей детей, которые украли сына миллионера, ни раскрывать деятельность шайки торговцев кокаином; вместо этого он должен был долгие часы тратить на допрос заведующих складами, продавщиц, участников драк. Вместо поединка с бандой, увозящей на яхте коллекцию бриллиантов известной кинозвезды, нужно было проводить ревизии у торговок с Ружицкого базара. Вместо ночных рейдов по тайным игорным домам — ловить организаторов прозаичной игры в три листика.

Растущее разочарование, в котором сам себе не признавался, вело к тому, что он перестал следить за собой. Если раньше его снежно-белая рубашка и идеально выглаженный костюм были предметом язвительности коллег, то теперь, когда он начал дело Яна Гурского, порыжевшая шляпа с пропотевшей лентой дала повод называть его «шляпой».

Служебные разочарования компенсировало ему кино. Углубившись в кресле, изолированный от мира полумраком зала, он напряженно следил за действием, развертывавшимся на нескольких квадратных метрах экранного полотна.

Наибольшее удовлетворение приносили Любичу минуты, когда, уже на середине картины, ему удавалось разгадать загадку, и тогда он перевоплощался в преступника, обдумывая более сложный метод сокрытия следов.

Но, несмотря на это, Любич не забывал о своих служебных обязанностях. Поэтому вечером, выйдя из кино, он пошел в комендатуру, чтобы проверить, не пришел ли из Лодзи ответ на телефонограмму о Яне Гурском.

Телефонограмму он нашел на своем столе. В ней не было ничего интересного. Гурский снимал комнату у мастера, работающего на одной из ткацких фабрик Лодзи. Однако хозяин квартиры не мог дать никакой информации о своем жильце, так как Гурский снял комнату всего два месяца назад и появлялся дома только поздно вечером.

Когда открыли комнату, которую занимал Гурский, оказалось, что там нет ни одного предмета, который ему принадлежал. Лодзинская комендатура предполагала, что хозяин мог выкрасть его вещи, и считала, что не мешало бы провести расследование в Кракове, где Гурский был прописан постоянно.

— Мудрят,— буркнул себе под нос Любич. Он был зол сам на себя за то, что сразу не послал телефонограмму в Краков. Поручик набрал номер дежурного офицера.— Привет, говорит Любич. Пошлите, пожалуйста, в Краков телефонограмму того же содержания, что и в Лодзь.

— Дело осложняется?

— Во всяком случае, не настолько, чтобы было о чем говорить,— ответил Любич.

На следующий день утром, когда Любич пришел в секретариат, он увидел офицера, который уже закончил дежурство и собирался домой. В руке тот держал листок телефонограммы, а по лицу его блуждала злорадно-удовлетворенная улыбка.

— Я специально ждал, чтобы вручить вам лично это известие. Теперь будет о чем поговорить, не правда ли, коллега?

Любич без энтузиазма взял листок бумаги и медленно направился к дверям. Внезапно он задержался, и на его лице появилось выражение нескрываемого удовольствия. Краковская комендатура сообщала интересные вещи.

На улице Кармелицкой, дом 5, квартира 16, действительно прописан Ян Гурский вместе с женой и десятилетним сыном. По профессии инженер, работает в горно-металлургической академии, но — что самое интересное — он жив и совершенно здоров. При установлении этих

фактов — Любич узнал об этом позднее — не обошлось без неприятного инцидента. Работник милиции застал дома только жену Гурского. Когда он спросил, где находится ее муж, она ответила, что он ушел час тому назад, потому что у него сейчас экзаменационная сессия в академии. Считая, что Гурская над ним смеется, оскорбленный милиционер поспешил заявить, что останки ее мужа были найдены в Варшаве.

Ничего странного, что при этом известии Гурская потеряла сознание. Вызвали врача, а извещенный соседями муж появился через несколько минут. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что год тому назад, во время командировки, у Гурского украли в поезде бумажник с деньгами и документами. Возникло подозрение, что вором был тот самоубийца, которого нашли на террасе кафе в Варшаве.

Любич прочитал телефонограмму два раза. Теперь он был уверен, что напал на след действительно захватывающей истории. Именно такого дела он ждал долгие годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда схлынула первая волна горячечного возбуждения, поручика Любича охватило сомнение. «Самоубийство или убийство?» — думал он, рисуя карандашом зигзаги на лежащей перед ним чистой бумаге.

Ян Гурский, а точнее, тот, кто пользовался документами Яна Гурского, живущего сейчас спокойно в Кракове, выскочил или же был выброшен из окна с 11-го этажа. Кто этот таинственный самоубийца? Почему он лишил себя жизни? А если это убийство, то кто убийца?

«Насколько легче решать подобные загадки, сидя в кино в мягком кресле, чем за дубовым столом, в неуютном кабинете комендатуры»,— думал он, закуривая неизвестно которую по счету сигарету.

В руки ему попало действительно интересное дело, но собранный пока материал не позволял сделать каких-либо выводов. Поручик не рассчитывал на то, чтобы результаты экспертизы, которых он еще не получил из лаборатории, могли в какой-либо степени помочь при разрешении загадки.

Лаборатория находилась на том же этаже, в противоположном крыле здания.

— Дайте немедленно результаты всех экспертиз того типа, который выскочил из окна в «Столице»,— обратился он к небритому человеку в халате, настолько запачканному химикатами, что установить его подлинный цвет было бы трудно даже известнейшим мастерам палитры.

— Еще не написаны,— ответил тот.— Но я могу вам так сказать. В желудке у него было столько люминала, что хватило бы еще на неделю сна, если бы ему не пришло в голову скакать через окно. Проспиртован он был не меньше. Выпил по крайней мере литр... Парень что надо!

— Можно ли насыпать люминал в спиртное так, чтобы вкус его не изменился? — прервал Любич.

— После такой порции спиртного человеку можно налить даже касторки; он и не почувствует.

— А что вам еще удалось установить?

— Только то, что он выскочил совершенно правильно, головой вниз.

— В котором часу он выпил снотворное?

— Примерно около полуночи,— ответил лаборант, старательно вытирая руки о халат.— А результаты вскрытия показали, что смерть наступила в час ночи. Следовало бы полагать, что покойник, прыгая в окно, спал, как суслик.

Любич посмотрел на лаборанта взглядом змеи, которой наступили на хвост.

— Можно ли поверить, коллега, что спящий человек, если он только не лунатик, может выскочить в окно?

— Исключено! Разве что ему кто-нибудь поможет, и поэтому я считаю, пан поручик, что вам попалось исключительно интересное дело,— сказал лаборант и демонстративно начал вынимать из шкафа бутыли, давая понять, что считает аудиенцию законченной.

Выйдя из лаборатории, поручик сразу же поехал в «Столицу». В это время около портье было относительно спокойно. Двое ожидающих при виде комичной фигуры Любича с интересом подняли головы, но через минуту широко открыли рты от удивления, увидев, что портье любезно согнулся в поклоне перед таким малопривлекательным гостем.

Любич серьезно ответил на поклон и поднялся по лестнице. Со второго этажа он позвонил директору и попросил ключи от любого свободного номера. Минутой спустя в номере 28 на втором этаже директор представил Любичу список приезжих, зарегистрированных в течение последних двух дней перед убийством. Поручик внимательно просматривал список, все время что-то записывая в толстой тетради. Эта сцена происходила в гробовом молчании, и ни один из двоих не проявлял никакого желания заговорить. Наконец Любич отложил список и потребовал вызвать портье, дежуривших в тот день.

Сравнительно быстро Любичу удалось установить, что в день происшествия двадцать три человека получили отдельные номера, причем только пятеро из них выехали из отеля на следующее утро.

Трое из этой пятерки, которой поручик занялся прежде всего, жили в номерах на 11-м этаже. Роман Стоберский, снабженец одного из крупных предприятий в Щецине, Казимир Врона — публицист из Познани, третий — Тадеуш Вольский — был служащим одного из торговых объединений в Кракове.

Меньше других понравился поручику этот познанский публицист. Портье никак не мог вспомнить, когда он вернулся в свой номер, а второй, дежуривший утром, сказал, что публицист выехал из отеля около шести часов утра. Несколько больше подробностей собрал Любич о Вольском и Стоберском. Похоже, что они вообще вечером не покидали своих номеров, в чем, однако, портье не мог присягнуть, а, как потом выяснилось, Вольский был именно тем человеком, который пьяным в стельку вернулся с песней после полуночи.

Поручик, выслушав все эти объяснения, имел такое непроницаемое выражение лица, что оба портье и их шеф готовы были присягнуть, что Любич уже распутал эту порочащую репутацию отеля загадку. Телефонограмма из Познани вселила немного надежды в сердце поручика. Ни одного публициста по фамилии Врона в городе не было, зато такую фамилию носил мошенник-рецидивист, которого не застали дома, а его семья не знала, где он сейчас находится. Поручик потребовал подробного описания Вроны. Но, к сожалению, кроме весьма общих сведений, что тот — человек среднего роста и средней упитанности, познанская милиция не располагала никакими другими подробностями.

Проходили дни, а следствие не продвигалось ни на шаг. С беспокойством Любич ждал со дня на день вызова шефа, имевшего неприятный обычай начинать любой разговор со слов: «Ну и что там у вас? Снова ничего не известно, не так ли?» Казалось, неспособность собственных сотрудников доставляла ему явное удовольствие и ничего другого он от них не ожидал.

Однако дело Вроны выяснилось гораздо быстрее, чем этого ожидал Любич. Через два дня, в восемь часов утра, два милиционера ввели в кабинет Любича какого-то субъекта.

— Милицейский пост в Гвиздове задержал разыскиваемого Врону,— доложил один из милиционеров.

— Пан полковник,— заскрипел пропитым голосом Врона,— я не знаю, в чем дело. Я только что после амнистии...

Уже в этот момент поручик понял, что его постигла новая неудача. Однако, хватаясь за последнюю спасительную соломинку, спросил спокойно:

— У вас документы при себе?

Один из милиционеров, предупредив ответ подозреваемого, с триумфом положил перед Любичем паспорт.

— Пожалуйста, это точно он. Все совпадает: номер, фотография, приметы...

Любич закурил сигарету и обратился к Вроне:

— Вы жили в отеле «Столица» 18—19 ноября?

— Да, пан полковник. Там что-нибудь пропало?

— Вы жили на 11-м этаже, не так ли? В какое время вы вернулись в свой номер?

— Я поужинал внизу с одной девушкой, которая тоже жила в этом отеле, а после десяти я уже спал.

— У себя в номере или у нее?

— У меня... Я холостяк, то есть разведен, пан полковник понимает... Имя ее Тереза, а фамилия мне была как-то ни к чему.

— А вы не слышали, кто-нибудь был в соседнем номере?

— Конечно. Около полуночи я слышал голоса двух мужчин, из которых один говорил очень громко, а другой его успокаивал.

Любич уже знал, что Врона занимал номер в непосредственном соседстве с так называемым Гурским и что, без всякого сомнения, номер Гурского был одиночным. Два голоса... Один из них — этот пронзительный голос пьяного — должен был потом замолчать навсегда.

«Но ведь Гурский,— Любич уже привык так называть таинственного самоубийцу,— был определенно трезв. Это подтвердил и портье, который дежурил той ночью. А пьяный был Тадеуш Вольский, тот служащий из Кракова. Тогда...»

Поручик знал: он уже на верном пути. В отеле «Столица» произошло убийство, с которым, однако, этот мелкий мошенник Врона, «публицист» из Познани, не имел ничего общего.

— Ну, с этим кончено! — пробасил он, вручая Вроне паспорт.— Спасибо вам.

Милиционеры из Гвиздова были явно удивлены.

— Я могу идти, пан капитан? — спросил Врона Любича, которого так недавно называл полковником.

— До свидания.— Любич кивнул головой.— Пропуск вам подпишут внизу.

Поручик остался в кабинете один. Версия «публициста» из Познани оказалась действительно несостоятельной. Но у него было предчувствие, что посланная в Краков телефонограмма с просьбой собрать данные о Тадеуше Вольском может быть переломным моментом в этом деле.

Вечером из Кракова пришли сведения, что Тадеуш Вольский, сорока двух лет, служащий одного из торговых объединений, выехал неделю назад по частному делу в Варшаву и с тех пор не давал о себе знать. Краков запрашивал, знают ли в Варшаве что-либо о Вольском, и просил немедленно ответить.

Но вместо того чтобы дать телефонограмму, поручик отправился на вокзал и сел в ночной поезд на Краков.

В доме на улице Детля, на четвертом этаже, Любич остановился перед дверями, на табличке которых было написано «Вольские», старательно вытер ноги и позвонил.

За дверями раздался приглушенный звук шагов, и кто-то посмотрел в глазок. Голова поручика, прикрытая старой шляпой, не могла произвести хорошего впечатления даже на самого доброжелательного наблюдателя, и ничего удивительного, что из-за дверей раздался не очень вежливый голос:

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста, я к Тадеушу Вольскому.

— Мужа нет дома.

— Я знаю об этом, я из милиции.— Любич вопреки первоначальным намерениям должен был назваться еще за дверями. Эти слова вызвали соответствующую реакцию, хотя результат был непредвиденным, потому что, как по мановению волшебной палочки, открылись все двери соседних квартир. Предстала перед Любичем и пани Вольская, решившаяся впустить непрошеного гостя. С неожиданным проворством поручик втиснулся в темную прихожую и тщательно закрыл за собой дверь. Он быстро вытащил из кармана служебное удостоверение и помахал им перед носом хозяйки, хотя понимал всю бесполезность этого жеста, поскольку в прихожей была тьма египетская.

Она приоткрыла дверь и на пороге бросила взгляд на удостоверение. Видимо, сомнения тут же оставили ее, потому что широким жестом пригласила Любича в большую комнату, заставленную разнокалиберной мебелью, и указала место на обтянутом грязным чехлом стуле, с которого быстро убрала щетку и тряпку.

Поручик уселся, положил на колени свою шляпу и с удовольствием вытянул ноги, измученные за время ночного путешествия.

— Пани Янина Вольская, не так ли?

— Да, я Вольская.— Хозяйка сняла с соседнего стула массивную пепельницу и села напротив поручика.— Что случилось с моим мужем? За что он сидит? Он всегда был такой осторожный... Должна ли я взять адвоката?

— Нет.— Любич прервал этот поток слов.— Ваш муж не арестован. Меня интересуют... обстоятельства его исчезновения.

— Что? — вскричала пани Вольская.— Мой муж пропал?

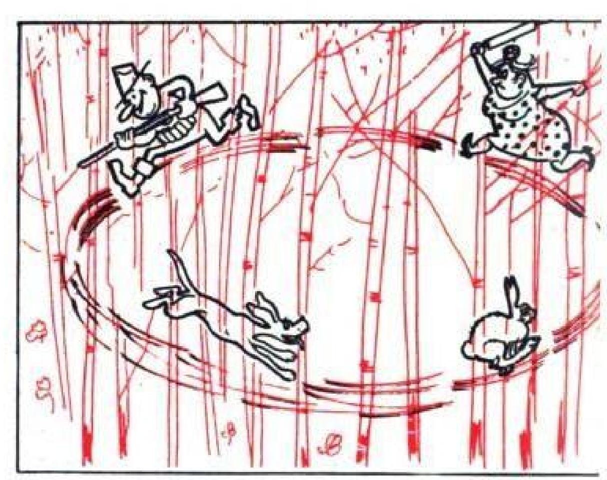
— Но ведь вы сами осведомили об этом милицию.

— Он никогда не выезжал на такой долгий срок. Я думала, что-нибудь случилось.

— Может быть, мы начнем по порядку? Итак, вы говорите, что муж никогда не выезжал из дома так надолго. Могу ли я узнать, зачем он поехал в Варшаву?

— Откуда я знаю? — взорвалась Вольская.

— Гм...— хмыкнул Любич и, видя, что система вопросов, которую он выбрал, не ведет его к цели, начал с другой стороны: — Вы должны успокоиться, я приехал сюда для того, чтобы вам помочь. Заверяю вас, что ваш муж не арестован и не совершил ничего предосудительного. Нам нужен свидетель в одном деле, и только вы можете нам помочь. Прошу взять себя в руки и спокойно ответить на мои вопросы. Это очень важно.



Замкнутый круг. Рисунок А. Шварца.

В жаркие дни. Рисунок В. Воеводина.



Последние слова, как видно, произвели должное впечатление. Она посмотрела на поручика если не с симпатией, то по крайней мере с интересом.

— Пожалуйста, спрашивайте.

— Итак, я повторяю: сказал ли вам муж, зачем он едет в Варшаву?

— Он говорил мне, что едет к товарищу, с которым познакомился во время отпуска в Сопоте. Тот приятель предлагал ему какую-то выгодную сделку и должность. Я сразу поняла, что здесь что-то не так. За этим, должно быть, скрывается какая-то женщина. И зачем я пустила его одного в этот отпуск!

Вольская собралась заплакать, но поручик тут же вмешался:

— Уверяю вас, что в этом деле не замешана женщина... Расскажите мне побольше об этом приятеле мужа, с которым он познакомился в Сопоте.

— Моя мама была больна,— ни с того ни с сего начала Вольская,— и я впервые за тринадцать лет нашей совместной жизни пустила его отдыхать одного. Бабником он не был, но я следила за ним, потому что сейчас современные женщины только и подкарауливают чужих мужей. Даже в газетах пишут, что каждая вторая — одинокая. Так что же остается делать этим одиноким? Отбивают мужей у других. В нашем доме уже были две такие истории...

— Итак, ваш муж во время отпуска с кем-то подружился...— вставил поручик, напуганный перспективой рассказа о неверных мужьях, живущих на улице Детля.

— Да, он там познакомился с каким-то приезжим, рассказывал, что это очень солидный и денежный человек. Но кто их там знает, может, вместе делали разные глупости. Потому что самое страшное — это приятели...

— Солидный мужчина предложил вашему мужу какую-то сделку или должность?..— Любич снова прервал рассуждения о дурном влиянии приятелей на благородных мужей.

— Да,— Вольская успокоилась,— кажется, он даже угостил его в Гранд-отеле настоящим французским коньяком. И я не удивляюсь... Тадеуш очень способный, но только разве тут, в Кракове, сумеют кого-нибудь оценить? Вот уже шесть лет он работает заместителем начальника отдела, хотя ума у него больше, чем у самого директора. В конце концов и я ему помогала, наставляла его дома...

— А какого рода должна была быть эта должность?

— Этот человек был связан с каким-то торговым представительством за границей. Ему нужен был способный помощник. Он предложил моему Тадеушу пост заместителя и зарплату в два раза больше, чем он получал здесь в объединении. Сначала я не поверила... Мало ли что люди обещают друг другу за рюмкой... Но когда пришло одно, второе письмо...

— У вас сохранились эти письма? — оживился Любич.

— Нет, когда пришло последнее, в котором этот человек просил мужа приехать в Варшаву, выслав на дорожные расходы тысячу злотых, то одновременно он потребовал от Тадеуша привезти всю их переписку. Я даже удивилась, но, как видно, у них там такой обычай.

— Ага...— По интонации голоса Любича никто бы не догадался, насколько заинтересовала его эта информация.— Итак, ваш муж взял все письма... Но вы их, наверно, читали?

— Конечно, я всегда открываю и читаю все его письма, я ведь все-таки жена. Тот человек писал очень коротко, что он имеет связь с английским представительством фармацевтических фирм и муж должен стать его заместителем. Он согласовал это в Лондоне, и они с радостью приняли кандидатуру Тадеуша...

— Ваш муж владел какими-нибудь иностранными языками?

— Нет, то есть не в совершенстве.... Во время оккупации он научился немного немецкому.

— У вас сохранилась квитанция на перевод, который прислал тот человек?

— Да, сейчас я поищу.— Вольская резво подбежала к маленькому столику и принесла телеграфный бланк.

Перевод был отправлен из Лодзи; отправителем был Ян Гурский, живущий на Петровской улице. Итак, круг замыкался. Теперь нужно было как-нибудь осторожно уговорить Вольскую поехать в Варшаву.

— Я хотел бы, чтобы вы поехали вместе со мной в Варшаву... О нет, ничего особенного,— поспешил он объяснить, видя выражение ее лица.— Вы должны помочь нам в поисках мужа, потому что, как я уже сказал, он пропал. Ваш муж остановился в отеле «Столица», где был приготовлен для него номер, но, к сожалению, пан Вольский, гм... выехал из отеля несколько дней тому назад, и его невозможно найти.

— Значит, я должна его найти, если уж милиция не может,— с издевкой произнесла Вольская.

— Насколько я успел заметить,— продолжал невозмутимо поручик,— уважаемая пани отличается выдающимися способностями. Зная при этом великолепно привычки мужа, вы можете оказать нам большую помощь.

— Если так, я поеду с вами,— любезно ответила польщенная Вольская,— видно, что вы не обычный милиционер и моментально можете разобраться в человеке.

Желая избежать излишнего потока слов, тем более что ему еще предстояло путешествие с этой красноречивой женщиной, поручик быстро встал и деловым тоном заявил:

— Предполагаю, что в три часа вы будете готовы, я приеду за вами с билетами. Мы поедем поездом номер четыре. Однако я бы очень вас просил сохранить все, что я вам сказал, в тайне.

— Ну, естественно! — воскликнула Вольская.— Если бы люди узнали, что я еду с милицией искать мужа в Варшаву, не было бы конца сплетням. И так уже соседки узнали, кто ко мне пришел. Напрасно вы представились за дверями. Я скажу им, что это еще по делу Зоси, той домработницы, которая нас обокрала в прошлом году. У меня пропала тогда черно-бурая лиса...

Любич, испугавшись, что ему придется еще выслушивать рассказ о нечестной домработнице, как можно быстрее отступил в прихожую и отвесил хозяйке дома галантный поклон.

Путешествие поручика вместе с Вольской в Варшаву не было богато происшествиями. Любич переживал волнующие моменты, выслушивая обширный реферат на тему об обычаях старого города Кракова. Хуже было то, что Вольская постоянно забывала о сохранении инкогнито своего спутника, благодаря чему не только купе, в котором они ехали, но и два соседних были подробно информированы о характере работы Любича, что возбуждало понятный интерес. Когда наконец после этого путешествия, которое было одним из труднейших случаев в карьере поручика Любича, он очутился вместе с Вольской на Варшавском вокзале, то решил действовать быстро и энергично. Ожидающему его шоферу он приказал ехать прямо в морг.

Вольская, конечно, даже и не предполагала, что ее роль в Варшаве закончится так быстро. Она уже воображала, как благодаря своим способностям и интеллекту заткнет за пояс самых способных следователей уголовного розыска. И, вероятно, поэтому она ничуть не волновалась, когда шла вместе с поручиком нескончаемо длинными коридорами.

Перед дверями морга поручика охватила тревога. Он предвидел наихудшее: плач, судороги, потерю сознания. Однако выбора не было, и он решил взять внезапностью:

— Прошу вас, не пугайтесь. За время нашего короткого знакомства я мог убедиться, что вы необычайная женщина. Сейчас мы войдем в помещение... гм... не слишком приятное... Я должен вам, однако, показать кого-то, кого вы, возможно, знаете, гм... только этот кто-то мертвый.

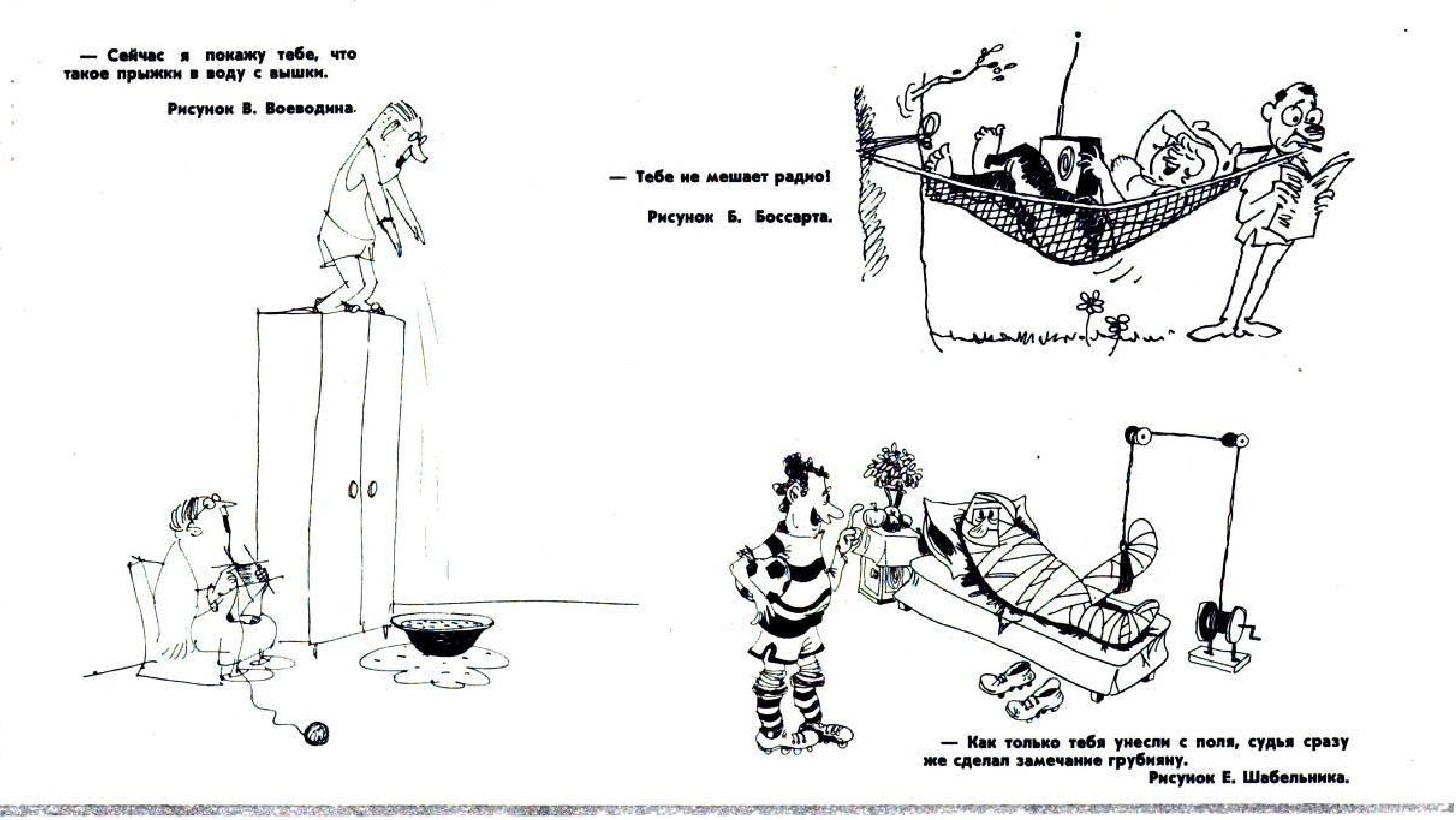
И, не ожидая реакции удивленной Вольской, он ввел ее в морг прямо к ванне с формалином.

Она наклонилась над ванной, и взгляд ее скользнул на левое бедро, на родинку в форме мыши.

— Тадеуш! — воскликнула она и упала на пол.

(Продолжение следует)

Перевели с польского
Г. Мяснянкина и И. Прокофьева.



— Сейчас я покажу тебе, что такое прыжки в воду с вышки.

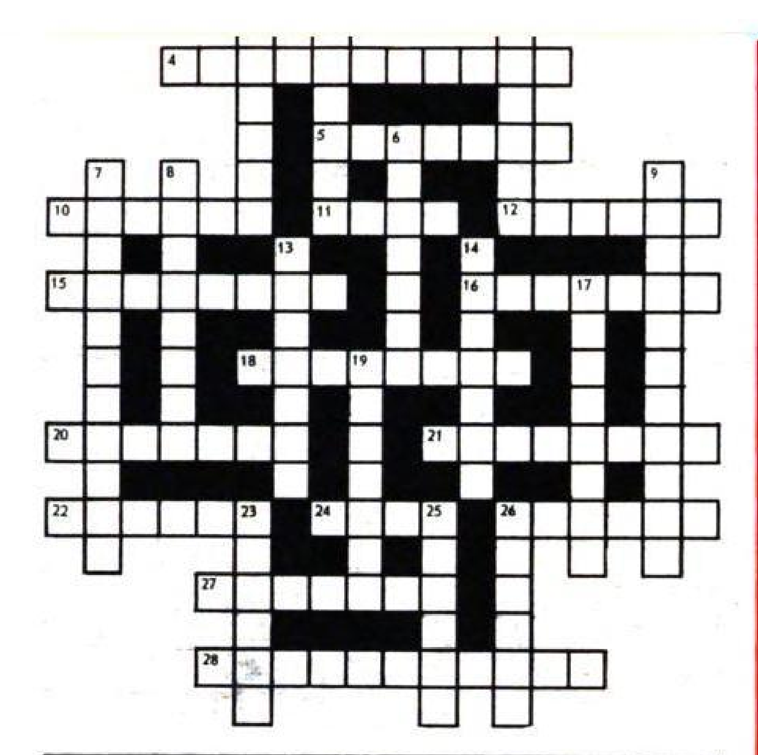
Рисунок В. Воеводина.

— Тебе не мешает радио!

Рисунок Б. Боссарта.

— Как только тебя унесли с поля, судья сразу же сделал замечание грубияну.

Рисунок Е. Шабельника.



КРОССВОРД

По горизонтали:

4. Порт на Тихом океане. 5. Часть весла. 10. Музыкальный знак. 11. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 12. Цветок. 15. Французский композитор, автор гимна «Интернационал». 16. Птица отряда куликов. 18. Итальянский поэт эпохи Возрождения. 20. Малая планета. 21. Внутреннее пространство здания. 22. Шерстяная ткань с ворсом. 24. Сельскохозяйственное орудие. 26. Занятие в высшем учебном заведении. 27. Землеройная машина. 28. Балерина, народная артистка СССР.

По вертикали:

1. Пряность. 2. Зимнее поселение у кочевых народов. 3. Архитектурное оформление дверного проема. 6. Растение семейства злаков. 7. Теплообменный аппарат. 8. Спортивная игра. 9. Роман Л. Н. Толстого. 13. Река в Африке. 14. Столица союзной республики. 17. Слесарный инструмент. 19. Сорт слив. 23. Опера Ж. Бизе. 25. Приток Припяти. 26. Наука, изучающая мышление.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 24

По горизонтали:

7. Варламов. 8. «Проселок». 11. Дрина. 12. Отара. 13. Вега. 15. «Спор». 16. Ложбина. 17. Андорра. 18. «Спартак». 19. «Школа». 20. Витебск. 23. Семафор. 25. Русанов. 26. Диез. 27. Тюль. 28. Пешка. 29. Карта. 31. Десятина. 32. Электрон.

По вертикали:

1. Эланд. 2. Сосна. 3. Бассейн. 4. Горилла. 5. «Арзамас». 6. Гондола. 9. Таджикистан. 10. Поликлиника. 14. Апофеоз. 15. Сержант. 21. Илимпея. 22. Крушина. 23. Свирель. 24. «Обломов». 28. Патон. 30. Анкер.

На первой странице обложки: Н. Зиновьев. Поднос «Чудо-юдо, рыба-кит» (см. в номере очерк Н. Родичева «Живет в деревне человек»).

На последней странице обложки: Рыбак Николай Земсков уловом доволен.

Фото Б. Кузьмина.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Редакционная коллегия: Д. Н. БАЛЬТЕРМАНЦ, И. В. ДОЛГОПОЛОВ (главный художник), Б. В. ИВАНОВ (заместитель главного редактора), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. М. ЛЕРОВ, В. Д. НИКОЛАЕВ (ответственный секретарь), Н. Б. ПАСТУХОВ, И. Ф. СТАДНЮК (заместитель главного редактора), Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

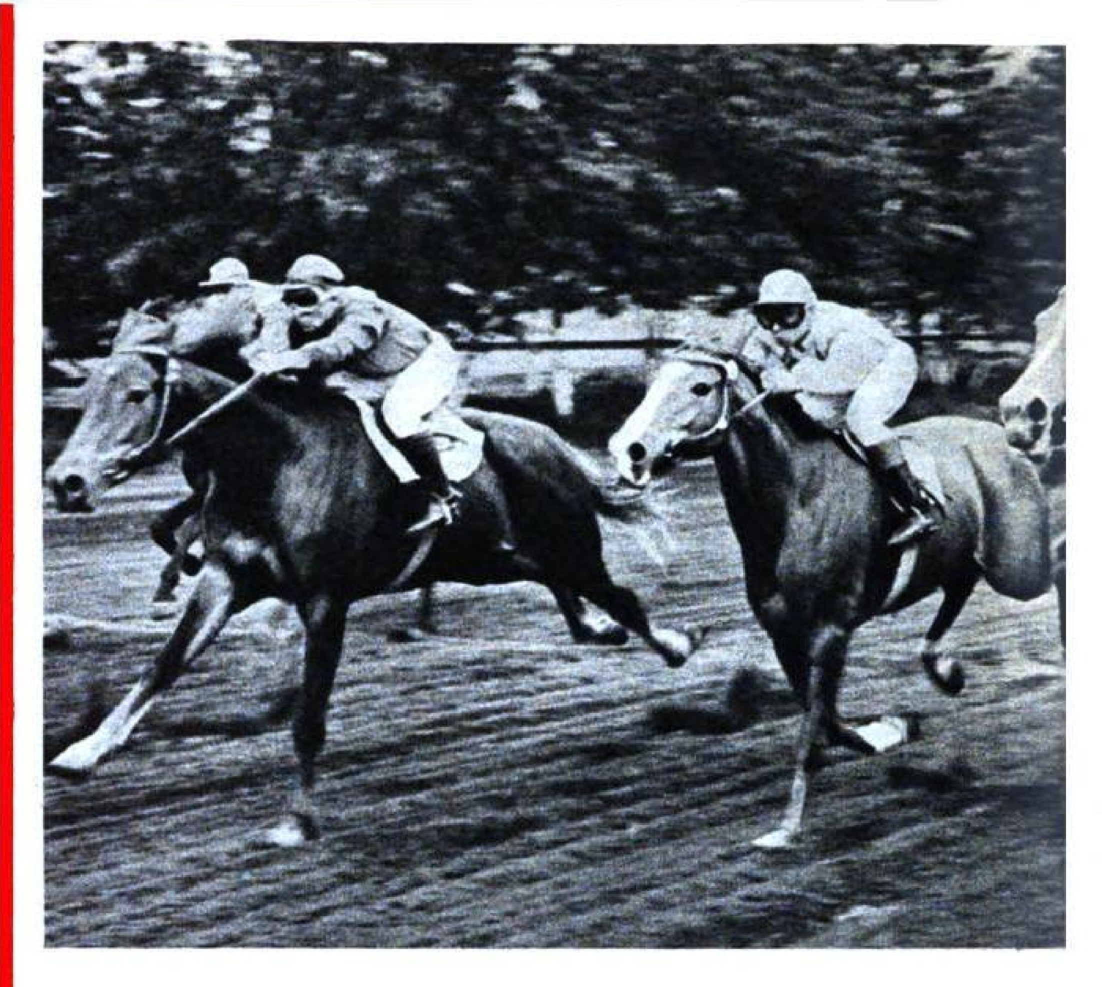
Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются.

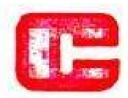
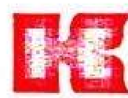
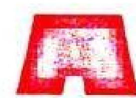
Оформление А. КОВАЛЕВА.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Репортажа и новостей — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-96; Литературы — Д 3-31-10; Очерка — Д 0-15-33; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

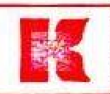
А 00420. Сдано в набор 27/V-68 г. Подписано к печ. 11/VI-68 г. Формат бумаги 70×108⅛. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 2 108 200 экз. Изд. № 1180. Заказ № 1483.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.




СКАКУ



К этому событию готовятся задолго, о нем начинают поговаривать уже с осени, когда возвращаются с дорожек ипподрома домой усталые скакуны.

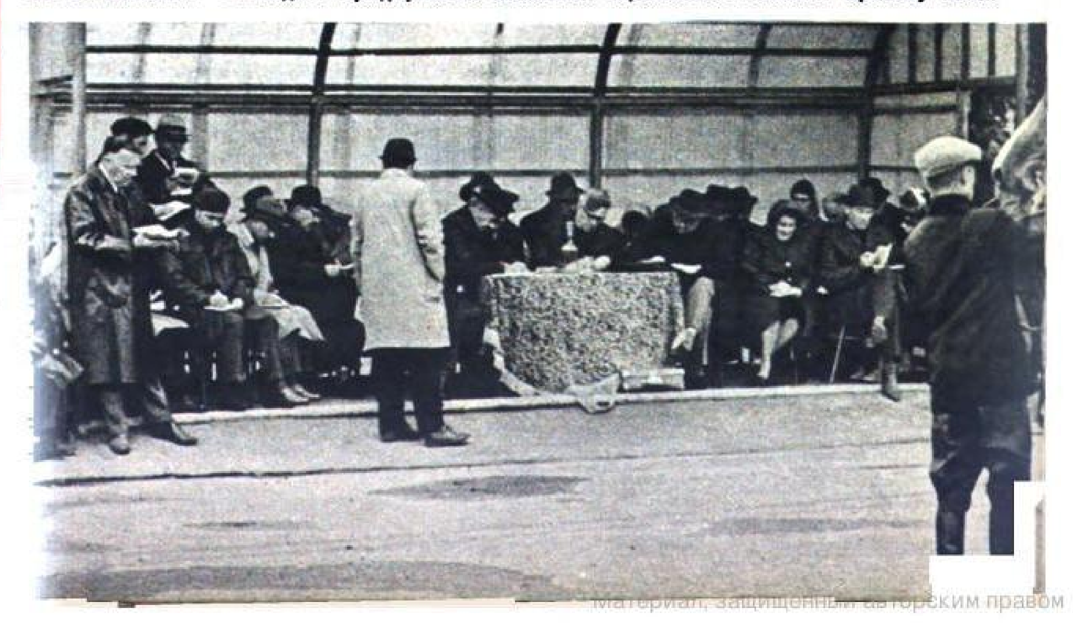
— Что-то покажет весна? — говорят друг другу конники.

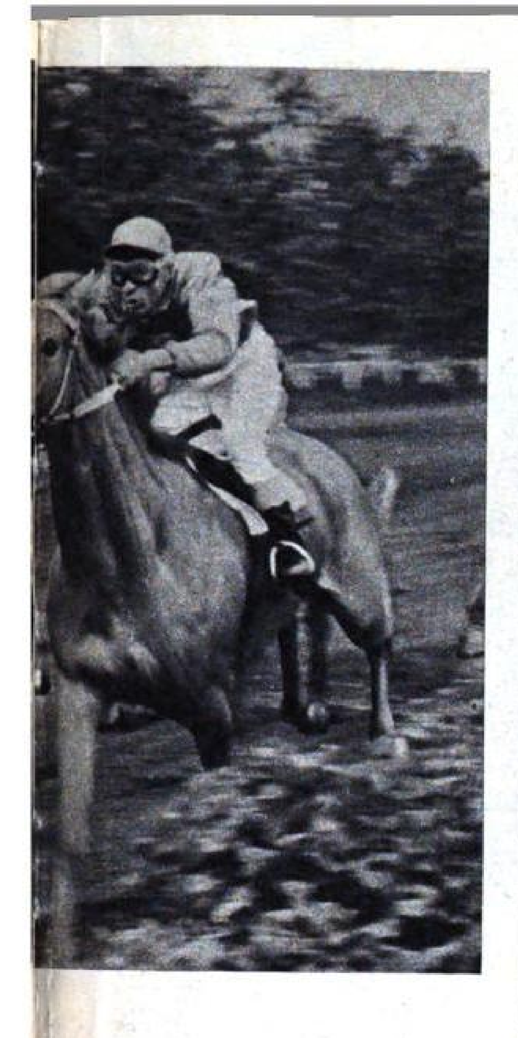
Непрерывны их заботы. В дни, когда шумят студеные метели, думают люди, еще не пережив как следует волнения минувшего сезона, о новой страдной поре. Дремлют в своих просторных денниках кони, грезятся им, наверное, старты и короткие взмахи флажка, слышится горячее дыхание огненноглазого соседа, который обязательно хочет тебя обойти. Кони вздрагивают тонкой, в сети прожилок кожей, всхрапывают, и голенастый молоднячок, у которого еще все впереди, не может понять, отчего это не спится старшим братьям и сестрам, когда зима. Не могут они понять, голенастые, отчего все чаще заходят к ним по одному, по два люди и почему так подолгу смотрят, осторожно поглаживают стройные ноги и плечи, не сердятся, если, играя, возьмешь кого-нибудь теплыми и мягкими губами за руку, говорят незлобно: «Балуй, дурачок!»

Гулко вздыхает в деннике гнедой красавец Анилин, чудо-лошадь, сумевшая за недолгий скаковой век трижды завоевать почетнейший Кубок Европы. Конечно, он помнит своего наездника-друга Николая Насибова, человека, с которым они вместе, в одном страстном порыве, разрывая тугой ветер, бьющий навстречу, добывали славные победы. Анилину уж больше не скакать. Хватит. Теперь на прославленном конном заводе «Восход» Краснодарского степного края будут ждать от чудо-коня потомство. И, быть может, через год-другой тот же Николай Насибов, жокей международной категории, ставший теперь тренером, примет юных большеглазых скакунов, оглядев ревниво, скажет: «Похожи вроде на отца!..»

Каждый год весной на ипподромах страны даются первые старты традиционного сезона скачек. Пошептав на дорожку напутственные слова, отправляют труженики конных заводов своих красавцев в путь. Каждый новый скаковой сезон — испытание. Только в ипподромных острейших соревнованиях можно получить ответ, верен ли опыт селекционера, верен ли глаз тренера, растет ли класс чистокровных коней.

Это называется — выводка. Придирчивая комиссия оценивает в баллах красоту коня.





Н Ы

Центр события — Московский ипподром. Сюда прибывают лучшие скакуны.

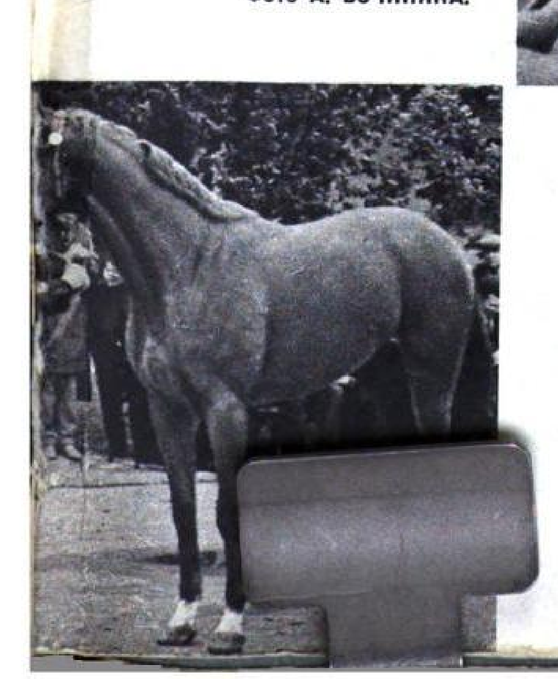
Недавно в Москве был открыт 36-й сезон скачек. Конные заводы России и Украины прислали своих питомцев. «Восход», Бесланский, Лабинский, Кабардинский, Днепропетровский, Онуфриевский, Стрелецкий, Деркульский... Многое говорит сердцу конника каждое из этих названий! Было интересно наблюдать за тем, как, вновь встретясь, затевают бесконечные разговоры люди, посвятившие жизнь отечественному коневодству, поздравляют друг друга: «Ну, что ж — начинается!» Прикидываются порой скромниками: «Где уж нам, вот у тебя!..» А сами тем временем с тревогой и надеждой посматривают, как там, в паддоке, жокеи в разноцветных камзолах садятся в седла.

И так все на ипподроме взволнованно и красочно, так непередаваемо красиво и увлекательно, что хочется, чтобы как можно дольше длился этот солнечный день, полный романтики стремительной, захватывающей борьбы.

Словом — скачки!

М. АЛЕКСАНДРОВ

Фото А. БОЧИНИНА.



Сейчас они сядут в седла: Сандро Алиев и Михаил Косенко.



Старший зоотехник В. И. Трифонов — один из старейших коневодов.







Цена номера 30 коп.
Индекс 70062